

ЮНОСТЬ



УЧРЕДИТЕЛЬ:
АНП «Реданция журнала
«Юность»»

«ЮНОСТЬ» —
зарегистрированный
товарный знак.
Правообладатель —
АНП «Реданция журнала
«Юность»»

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
Сергей Александрович
Шаргунов

Выпуск издания
осуществляется
при финансовой поддержке
Федерального агентства
по печати и массовым
коммуникациям

Лиц. Минпечати №112.
ISSN 0132-2036

Наша почта:
unost-org@mail.ru

Наш сайт:
unost.org
юность.рф
Мы в социальных сетях:
facebook.com/unost
vk.com/zhurnaliunost
Instagram/@zhurnaliunost

Адрес редакции:
125047, Москва,
ул. 1-я Тверская-Ямская,
д. 8, стр. 1

Для почтовых отправок:
125047, Москва,
а/я 182, «Юность»

Тел.: +7 (499) 251-31-22,
+7 (499) 250-40-74,
+7 (495) 250-40-95

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ:
Дмитрий Бан
Зоя Богуславская
Алексей Варламов
Евгений Водолазкин
Анна Гедымин
Тамара Жирмунская
Елена Исаева
Владимир Костров
Нина Краснова
Юрий Полянов
Игорь Шайтанов

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Сергей Шаргунов
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Татьяна Соловьева
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Вячеслав Коновалов
РАБОТНИКИ РЕДАКЦИИ
Яна Нухлиева
Настасья Попова

РЕДАКТОР-КОРРЕКТОР
Юлия Сысоева
РАЗРАБОТКА МАШЕТА
Наталья Агапова
ВЕРСТКА
Наталья Горяченнова
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
Людмила Литвинова

Подписные индексы:
каталог «Почта России» —
П1972,
объединенный каталог
«Пресса России» — 71120

Отпечатано
в ООО «Типография
«Миттель пресс»

Москва,
ул. Руставели, д. 14, стр. 6.

Тел./фанс:
+7 (495) 619-08-30,
+7 (495) 647-01-89
E-mail: mittelpress@mail.ru

Тираж 3500 экз.
Формат: 60×84/8
Заназ №

«ЮНОСТЬ»
© С. Красауснас. 1962 г.

На 1-й странице обложки
рисунок
Нюси Красовицной
«Поезд»

ПОЭЗИЯ

- 6 ДМИТРИЙ РЕВЯНИН
13 МАКСИМ ЖУКОВ
16 ТАТЬЯНА ПЕТРОВА
18 ИГОРЬ ИЛЬИН
20 ДМИТРИЙ КРАВЧЕНКО
23 ОЛЬГА АНИКИНА

ПРОЗА

- 30 РОМАН СЕНЧИН
СРОЧНАЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ
46 БОРИС ЛЕЙБОВ
ОДНО ПРЕСТУПЛЕНИЕ
52 ВАЛЕРИЯ ФРОЛОВА
ПО ПЯТНИЦАМ ТАНЦУЕМ
55 ГАЛИНА КАЛИНКИНА
КАРЛ-МАРКС-ШТАДТ
61 АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ
МОИ ОТРАДНЫЕ ДЕНЬКИ
67 ВАЛЕРИЯ КРУТОВА
ЕЩЕ НЕТ
СИНЯЯ ПТИЦА В РОЗОВОМ ОПЕРЕНИИ
73 ВЛАДИМИР ЧЕРНЯВСКИЙ
ВОЗВРАЩЕНИЕ
ПАТИНА
81 АЛЕКСАНДР ЮДЕЛЬСОН
ХРОНИКИ ПУТЕШЕСТВИЯ В ЭПОХУ ПАНДЕМИИ

ЗОИЛ

- 88 ТАТЬЯНА СОЛОВЬЕВА
НОВИНКИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ:
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
НОВИНКИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ:
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
НОВИНКИ ЛИТЕРАТУРЫ НОН-ФИКШЕН

БЫЛОЕ И ДУМЫ

- 98 АЛЕКСАНДР ВАСЬНИН
«ГДЕ Я ПИШУ? В ГОСТИНИЦАХ. В ОБЩЕЖИТИЯХ.
В БОЛЬНИЦАХ». ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС
СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ В 1950–1980-е ГОДЫ
- 129 ИГОРЬ ДУАРДОВИЧ
ВЕЛИКИЙ ПЕРСОНАЖ ЭПОХИ
- 135 ВЯЧЕСЛАВ ОГРЫЗНО
ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ С ВОЕННОЙ РАЗВЕДКИ

| Юность №5
| Май 2022

ПОЭЗИЯ



ДМИТРИЙ РЕВЯНИН
Родился в 1964 году в Ново-
сибирске, детство провел
в Забайкалье. Окончил
электротехнический институт.
Поэт, музыкант, лидер рок-
группы «Налинов Мост». Автор
пяти поэтических книг.

* * *

Поэзия должна быть многослойной,
Чьи уровни темнеют и сверкают,
Где кожух на погляд железом скроен,
Где вещая начинка дорогая.
Зияют безутешные пустоты,
И все смелей запретные вопросы,
Но ты не усомнился ни на йоту,
Ты мониторишь иноземно вбросы.
То здесь, то там снимаешь ловко стружку,
Срываешь лакированные маски.
Без устали готов задачи лузгать,
Выцеливаешь метко, без промашки.
Как в юности, поет душа в дороге,
И трудности бодрят без экивоков.
Где солнышко покоится полого,
Где луны оплывают волооко.
Поэзия врачует миротворно,
Дарует парус и вменяет строго
Держать удар, когда взбывает дворня,
И обязует огненным Сварогом.
Поэзия легка и вездесуща.
Претит ей закоснелость иерархий.
Поэт ныряет в бездну, как безусый
Сиюминутный дервиш, всадник яркий.
Под северным пером мира роятся,
Играется ребенок без боязни.
Светлеет пух космических реляций,
Где выбор детства безупречно ясный.

* * *

Осколочный июнь –
Дамоклов меч блесит,
Трепещет воздух в крыльях Немезиды.
Серпами юных лун
Спешить сказать «прости»,
Где прошлым веком горести прошиты.

Алмазное сверло
Уже буравит магму,
Ядро огнисто жерло расщепляет.
Норильское кайло
Железным трубным махом
В сибирских скалах рубит своды рая.

Искрят ожоги брызг.
Взирает Путорана,
Космический зрачок слегка прикрыт.
Суровый обелиск,
Ковчег Теночтитлана,
До времени в узде гранитных плит.

Вибрирует струна,
Свирепый Логос бдит,
Жгуты сияний северных пророчат.
В крови растворена
Окалина беды –
И смерти лютый саван рвется в клочья.

ЕДИНОМЫШЛЕННИКАМ

Приспело время подвести черту,
Былые страхи перебрать на четках –
Глухую, восковую череду, –
Когда в сердцах отплясывал чечетку.
Секира рубит деловито лед,
Куски дымятся на закатном солнце.
Обыденное в памяти сотрет
Упругий слог седого пошехонца.
Стигматы-раны надо исцелять,
Извлечь засадное степное стило, –
Узреть Ивана Грозного Царя
Всея Руси, чья Воля отрядила
Снискать державе снежную Сибирь,
Прославленную Ермаковым войском.
...Московский трон проступки не забыл
И ратоборцев жаловал по-свойски...
Границы рдели в отблесках меча,
Христовы дети рубежи держали:
Ливонец, лях, пронырливый крымчак
Сполна узнали северную ярость.
В веках победа кровью запеклась –
Не меркнет подвиг Молодечной битвы,
Усобиц жала вырывал на раз,
Сверя поступь искренней молитвой...
...Отчизна ныне принимает бой,
Клубится небо предрассветной мглою.
Веди нас, Государь, мы за тобой –
Пути прямые – будущим героям!

* * *

Июльский миг играет красками,
Приносит радостные вести.
И даже время нежно лязгает,
Где пьют ручьи степные вежды.
И воздух ягодный и пористый –
Все выше, выше облака.
И дело сказочное спорится:
Ведет уверенно рука
Иносказательно и ясно,
И силу чувствует перо.

Где вечер тихий в ночи ластится,
Готов приветить приворотно.
Где небо, выцветшее платъице,
Соцветьем звезд блеснет разлетно.
Пусть пальцы порохом мозолятся,
Где плен мизинца – дрожь наград.
Вернется сказанное сторицей
В душе увиденным сгорать
Метеоритно и вальяжно, –
Где будущее о былом.

* * *

Я отменил свой персональный гороскоп.
В упряжке пенится планетный порох.
Зодиакально прекратил пустые споры,
Пополнил арсенал алмазных скоб.
Я увеличил напряжение в сети,
Отсек секирой осьминога плети.
Уведомленно уронил досужий рейтинг
И лег на дно любую брань снести.
Меня пытались отсканировать лучом
И втиснуть в едкие клише-лекала.
Слоилась копоть несусветного нагара:
Погрешность медвежатник не учел.
Уговорить не получается навзрыд,
Навскидку высмотреть нездешний голод.
Соленый месяц успокоится не скоро,
Ему известно, где ларец зарыт.
Меняя исподволь фарватеры глубин,
Гнетет давление в издержках века.
Слегка пульсирует оценочное веко –
Как выродкам с подтекстом нагрубил.
Пусть загнойтся червоточины в груди
И верный пес клыки при встрече скалит.

Всегда излечат родники сердечной яри
Присокровенные ключи теснин крутых.
Натальной карты больше нет: ищи-свищи.
Искрится детская ладонь без страха.
И где-то в логове ночей грубеет якорь
И варятся гостям густые щи.

* * *

Три года пролетят, как смерч,
И возликует первокровь.
Ты вдохновенно семиречь –
Края родные обусловь.
Надежды выверенный слог
Поют торжественно сердца.
Блестит зернистый оселок,
Бликует в синих изразцах.
Ты молод, крепок, оперен
И бодро выверяешь шаг,
Где с незапамятных времен
Отточен бронзовый резак.
Крыжовник тает на губах,
Пьянит осенней кислотой,
И луч раскосый впопыхах
Блеснет причудливо слюдой.
Смешались вести на ветру
В тугой косматый узелок,
И многолетнему тавру
Ты умозрительно изрек:
По мановению руки
Клеймо исчезни сей же час –
Приказом огненной строки,
Былыми швами не кичась.
Встречай, крылатая родня, –
Сгорает прошлое в горсти.
Готовы небеса поднять
До звезд сердечные холсты.

* * *

Афористичен этим вечером поэт:
Блистают перлы, словно лед,
И будет восхитительно воспет,
Кто в сумерках провидит наперед.

В ладонь впечатан Евразийский материк.
В груди ограненный кристалл
Среди кликуш и меченых расстриг
Оценит строки чистого листа.

Без промедлений дарит выверенный слог
Суровый глас небесных круч.
От века вертикально яр и строг
Нездешний перевозданно юный луч.

Ты не посмеешь исполнений избежать
Сродни приказу на войне.
Юдоль твоя беспечна и боса –
С любимчика взыскуется вдвойне.

И не пристало на миру узнать,
Где вдохновение живет,
Где муза, полигамная жена,
Зернистый прободает небосвод.

Среди сырых неразберих и суеты
Пребудешь глыбой – глух и слеп.
И в мае расплескаются сады,
И выступит декабрь полярный склеп.

Дважды рожденный по ночам не спит –
Тенеты пробует на вкус.
Задорно обмолочены снопы,
Но жаловать с руки остерегусь.

* * *

Из прошлого возьмем огонь,
А серый пепел на ветрах развеем.
В полярных далях стынет Оймякон,
Но точит кровь судьбу еще резвее.
Слезой инициал блестит,
Ревниво плещется пожар осенний.
Оглавлены кандалные бразды
Уральских ритуальных заушений.
Дожди косые льют не зря,

И луч весенний спрятан в мокрых тучах,
Где сполохи прозрений веселят
И радуется ниспосланная участь.
За пазухой краяхи хлеб,
Ладонь хранит отмеренные тропы.
Неброский слог в сражениях окреп,
Всесильных наваждением коробит.
Пусть сорвана порой резьба
И в утлой лодке вновь пробито днище,
Но топится березою изба,
Где русская душа покоя ищет.
Весь мир в себя до крох вобрать:
Ужель бесплодна неземная сила?
Играть на солнце брызгами пера,
Где годы хрусталем припорошило.
Из прошлого возьмем огонь.
Сквозняк уносит прочь шальные хлопья.
Ты для себя сноровку узаконь –
Измерить роковое исподлобья.

ЗМЕИНАЯ СВАДЬБА

Одиннадцать мне было лет,
Когда все кончилось.
В тот год заправски взяли след
Борзые гончие
И нас погнало, словно скот,
К степным могильникам
Нести гуртом печать невзгод –
Печаль пустыряника.
Темнели глухо в скрип колес
Снега лазурные,
Где пепел забайкальских грез
Клубился урнами.
Ревниво бились об заклад
Волхвы-законники,
Где расплодились во сто крат
Чумные конюхи.
Змеинный посвист кривизной
Пометил шкурника.
Не расцвели в тот год весной
Цветы багульника.
С цепи спустил гнилой конвой
Братву разбойную,
Погибельный твердила вой
Волна прибойная...
Одиннадцать мне было лет
В прицеле осени,
Где на потребу не сомлеть
Поводья брошены.

* * *

В густой прибор угрюмых онтологий
Швыряешь на весы сырую взвесь:
Сейчас готов вердикт.
Портреты провозвестников развесь.
Снега кропят гранитные отроги,
Где камень сер и дик.

Порой в груди ни холодно, ни жарко,
Сгорает в корчах выморочный день,
Где ночь исподтишка
Прицельно бросит тени на плетень,
Поправит перья сивая цесарка
В шагреневых тисках.

Гнуть колесо, выкидывать коленца –
Ты бесподобен, ты всегда в пути –
Трепещет антимир.
Товарищ и сердечный господин
Силен благочестиво упереться
В Аляску и Таймыр.

Приручены космические вихри,
Оправдано вселенское гнездо
В чернильный перепляс.
В траншеях повторяют бусидо,
Спешат глотать любые заковырки,
Горилкой распалясь.

Кто наизнанку вывернул пределы,
Одарит расщепленный чистый свет
Дыханием своим –
Ребенком бесконечным разуметь,
Где радость то густела, то редела
Ушедшим и живым.



МАНСИМ ЖУНОВ

Родился в 1968 году в Москве. Русский поэт. Председатель Крымского отделения Союза литераторов России. Лауреат международного конкурса «45-й налибр» (2021). Победитель конкурса «Заблудившийся трамвай» (2012). Обладатель Григорьевской поэтической премии (2013) и Международной премии имени А.И. Левитова (2021). Публиковался в «Литературной газете», а также в журналах «Знамя», «Нева», «Сибирские огни», «Номо Legens» и многих других. С 2010 года живет в г. Евпатории.

1989 ГОД

Это тело обтянуто платьем,
как тело у жрицы Кибелы обтянуто сетью,
оттого-то заколка в твоих волосах
мне и напоминает кинжал.

Если верить Флоберу,
то в русских жестокость и гнев
вызываются плетью.

Мы являемся третьей империей,
что бы он там ни сказал.

В этой третьей империи ты мне никто и ничто,
и не можешь быть кем-то и чем-то,
потому что и сам я
в империи этой никто и ничто.
Остается слагать эти вирши тебе
и, взирая с тоской импотента,
обретаться в столице твоей,
что по цвету подходит к пальто.

Если будет то названо жизнью,
то что будет названо смертью?
Когда я перекинусь,

забудусь,

отъеду,

навек замолчу.

Это тело имеет предел
и кончается там, где кончается все
круговертью,
на которую, как ни крути,
я напрасно уже не ропщу.

В этой падшей, как дева, стране,
но по-прежнему верящей в целость,
где республик свободных пятнадцать
сплотила великая Русь,
я, как древние римляне,
спяну на овощи целясь,
зацепился за сало,
да так за него и держусь.

В этой падшей стране
среди сленга, аргю и отборного мата
до сих пор, как ни странно, в ходу
чисто русская речь,
и, куда ни взгляни, –
выходя из себя,
возвращаются тут же обратно,
и, как жили, живут
и по-прежнему мыслят –
сиречь,

если будет то названо жизнью,
то названо будет как надо –
с расстановкой и чувством,
с апломбом,
в святой простоте,
это тело обтянуто платьем,
и ты в нем – Менада.
Ты почти что без сил.
Ты танцуешь одна
в темноте.

* * *

Белый день заштрихован до неразличимости черт.
Я свернул у моста, а теперь мне, должно быть, налево...
Я иду вдоль реки, как дотла разорившийся смерд:
Без вины виноват, ни избы не осталось, ни хлеба.

Нынче ветрено, Постум, но что они значат – ветра,
С совокупностью их, с направлением, с силою, с розой?
Не пришедших домой тут и там заберут мусора;
Что рождено стихом, умирает, как правило, прозой.

Ничего никогда никому не хочу говорить,
Повторяя себе вопреки непреложное: «Скажешь!»
До того перепутана первопричинная нить,
Что ее и петель на кадык просто так не повяжешь.

С чешуей покрывает по самое некуда вал,
Никакого житья – все равно, будь ты фейк или гений.
Я живу у моста. Я на нем никогда не бывал
И считаю, что это одно из моих достижений.

* * *

Мой кот не знает, что умрет.
А я – не знаю – как...

И лес умрет. Не так, как кот,
А как-то так – фигак! –
И нет ни елей, ни осин,
Не станет ничего.

Мой кот глядит, как будто сын,
Родное существо.

А лес стоит, поджав живот,
Не чувствуя, стоит, –
Что все сгорит, что не сгниет,
Что не сгниет – сгорит.

Я жил когда-то без кота
И убедился в том,
Что без кота и жизнь не та,
Не то что жизнь с котом.

А лес встречает первый снег,
Дрожа березняком,
Где потерялся человек
С веревкой и мешком.

Он шел и все вперед глядел,
И все глядел вперед...
Но отношенья не имел
Ни я к нему, ни кот.

Мой кот глядит, как будто сын,
На мир и на людей,
Как сорок тысяч верных псин
И добрых лошадей,
И он не знает, что умрет.
А я – не знаю – как.

И кто кого переживет,
Не ведаю. Вот так.



ТАТЬЯНА ПЕТРОВА
Родилась в 2007 году
в Москве. Учится в школе
«Уна».
В двенадцать лет поступила
в Детскую художественную
школу, активно рисует, участ-
вует в конкурсах.
В 2022 году стала побе-
дителем литературного
конкурса Ассоциации
издателей и писателей «Мир
литературы. Юность» и участ-
ником второй литературной
смены «Штурманы книжных
морей» в МДЦ «Артен», где
впервые со сцены прозвуча-
ли ее стихи.

* * *

Очень хочется бросить стихи на струны,
О гитару разбить свои хрупкие пальцы,
Хочется мчаться, пениться, как буруны,
Чтобы песни мои заводили скитальцы.

Чтобы яростно кони копыта вскидывали,
Сине-море внизу и дрожало, и пьянилось.
Чтобы мир не затер меня, люд не сбытовал,
Моя песенка век еще по степям лилась.

ПАМЯТИ В. П. КРАПИВИНА

Когда враги пускаются вскачь,
Флаги хлещут раскатами грома,
Просыпается мальчик-трубач,
воинов света зовя в дорогу.

Тьма сгустилась над городом,
Тень окутала белые башни.
Глядь – туда спешит конница,
Разрубая врагов бесстрашно.

Когда нервы натянуты струнами
И звенит тишина предрассветная,
До рассвета остались минуты,
И ему просыпаться первому.

* * *

Одиночество меряют милями,
Крепким куревом, чаще – котами.
Кто-то шепчет в ночи – спаси меня,
И слова в гулкой комнате тают.

Вместе с чаем глотаю горечь,
Дым течет сквозь полоски света.
Из-за тучи луна выходит,
Заслоняя собой полнеба.

Как струна что-то рвется в сердце.
И хоть вой на луну с тоскою.
Только голос опять сорвется,
Задыхаясь полночной мглюю.



ИГОРЬ ИЛЬИН
Поэт, сценарист.
Родился в 1970 году в Омске.
Окончил ОмГПУ.
Участник поэтического семинара Дмитрия Воденинова в школе писательского мастерства «Пишем на крыше».
Публиковался в журналах «Зернало», «TextOnly», «Новая Юность».
Автор книги стихов «Из дыма, солнца, воды и конфет».
Живет в Москве.

ПОРТРЕТ

Я пишу твой портрет.
Тонкими красками, акварельными мазками.
Складываю непослушную улыбку в тонкие гладкие губы,
одинокие руки, непростую судьбу,
ножки в обнимку с новыми башмачками.
Выходит нескладно.
Слова – бестолковые, не мои – путаются в твоих волосах, взгляде,
в наших воспоминаниях,
отступаются, замолкают, соскальзывают в безжалостный,
словно прощание, вакуум.
Не желают ложиться в заготовленную портретную рамку.

Вместо света получается хрипотца,
Вместо вдоха – искусственное дыхание.
вместо притяжения – отрицательная реальность.

Я слышал, что в памяти лучше хранится то, что давно забыто,
и, возможно, чтобы увидеть тебя настоящей, нам надо расстаться,
поиграть в смерть
и, возможно, смерти проиграть.

Тогда к нам вернутся: воздух, свет, пространство, цветá.
Вернутся наши невозможные голоса,
наши настоящие лица.

Но теперь нас уже не спасти.

КОЛОБОК

Ложка, еще одна ложка, две вилки, детская ложечка, кружка, еще одна, стакан, еще, тарелка, мелкая тарелка, глубокая, чашка, сковородка, большая крышка, сотейник, маленькая крышка, противень, рюмки, осколки, осколки...

Когда я увидел стихотворение, я не испугался, я стал его писать.
А оно стало писать меня.

Здравствуйте, я...

Вот рука его, вот другая, вот ноги, вот голова,
вот туловище, вот глаза и уши на месте.

Вот клубок, вот колобок.
Вот дорога – едва заметная ниточка. Птичка щебечет.
Бабушка, расскажи сказку. Слушай, внучек. Только не перебивай.
А сказка добрая? Добрая, золотой мой, добрая, добрее не бывает.

Семь дней и ночей я трудился.
Семь дней и ночей трудилось оно.

Здравствуйте, я...
А я – ваше стихотворение.
Мы подружимся, мы закружимся, мы...

А где же ваша душа?
Там, где ее никогда не было.
И не будет.

Покатится колобок по лесам, по полям, улизнет от волка,
медведя перехитрит, прикатится к лисе.
Зажмурится.
Здравствуйте, вы кто?
Откроет глаза.
Здравствуйте, я ваше стихотворение.
Я буду вас есть.

Ноябрь 2021 года



ДМИТРИЙ НРАВЧЕННО
Родился в 1991 году в Арма-
вире. Окончил среднюю
школу с медалью и уехал
учиться в Ростов-на-Дону.
Начал свой творческий путь
в студенческом культурном
центре РГЭУ (РИНХ), который
окончил по двум специаль-
ностям (экономиста, юриспру-
денция).

Первый литературный
конкурс выиграл в 2009 году,
опубликовав стихотворение
о зиме. Лауреат поэтических
конкурсов «Веги победы»,
«Мельница», «Городская
лира», «Зеленый листок».
В 2014 году организовал
городской проект «Литера-
турная гостиная». В 2017 году
переехал в Москву,
продолжил развивать проект
«Литературная гостиная»
и развиваться сам.
Выпустил пять сборников
стихотворений «Счастье
проще, чем...», «Белая
медведица», «С любовью
к женщине», «Многогранный»,
«Опиши меня прилагательным». Член Союза
русских писателей. Побе-
дитель фестиваля молодой
поэзии «Филатов Фест —
2020».

Публиковался в «Литера-
турной газете», альманахе
«Мост» и др.

С пяти лет занимается
спортом. Мастер спорта
по греко-римской борьбе.

* * *

И хоть с голубого на темно-синий,
И даже на черный, когда нет звезд,
Оно заменяет свой цвет, я сильно
Люблю наблюдать за ним. Слово пес,

Готовый завить на созвездья, скалясь —
Ищу в этом стаде тельцов и коз,
И, будто в награду, пастушка, каюсь,
Бросает мне в «пасть» полумесяц-кость.

Я с небом ловцом себя чувствую праздным:
Таскаю и раков, и дев. На весы
Кладу всю добычу, которую сразу
Съедают голодные львы-наглецы.

Я небу дарю поцелуи-приветы
И верю, что каждой из сотни комет,
Летающих в меня или мимо планеты,
Оно награждает за это в ответ.

Но если оно заливается красным
(пункт «а» — от стыда;
«б» — от встречи со мной),
Я рву восходящие белые астры
И в ночь отправляю их первой совой.

* * *

А помнишь ли полупустой Павелецкий?
Мы – будто вагоны на сцепке. По-детски
Дразнил тебя, за нос и за косы дергал –
Я знал соблазнения курс на пятерку,

Как знал я и то, что увидимся вряд ли –
Играем на чувства, по-взрослому, в прятки:
Ты едешь туда, где весь мир цвета свадьбы,
А мне до заката тебя отыскать бы...

Казалось, любовь наша сильно раздута,
Но что-то про поезд объявит кондуктор,
И я в твои губы вопьюсь, как в источник
В пустыне – кочевник, уж коли быть точным.

И если нас что и разлепит, то только
Пронзительный свист, завывающий тонко,
Да крик проводницы, похожий на сглаз,
Дающий понять, что игра началась.

* * *

Когда во мне проснется дурость,
Я побегу по мостовой.
Земля на ней как будто вздулась
И разрывается травой.

Она, дышавшая свободой,
Была укатана в асфальт,
И мне, в мои-то три(дцать) года,
К свободе хочется воззвать.

Река шумит. Гудки клаксонов
Не заглушают мой порыв.
И даже солнце, хоть и сонно
Сжигая воду на пары,

Горит звездой путеводной,
Лучом указывает путь.
И на Обводном или Водном
Хочу свободы я глотнуть.

Но в миг, когда приходит дурость,
Она несет с собой тоску,
И прислоняет время дуло,
Смеясь над планами, к виску.

* * *

Когда ты пошлешь мне, Боже,
Следующую,
То можешь,
Пожалуйста, предупредить?
Мне новизна претит.
Я по душе консерватор.
Господи, стой! Куда ты?
Думаешь, я шутник?
Хочешь, я взвешу дни
Долгих своих депрессий
(каждый по тонне весит!)
И, разделив на сто,
Брошу тебе на стол
В качестве доказательств?
Высший Ты мой истязатель...
Думаешь, мне полезно?
Думаешь, я железный?
Лестно...
Знаешь, вот, если честно...
Хоть в меня камнем брось,
Хоть меня розгой выпори,
Но лишь одну из просьб
Ты мою, Боже, выполни.
Когда Ты – могучий – сведуще
Мне предоставишь следующую,
Вспомни мои все бредни –
Сделай ее последней.



ОЛЬГА АНИНИНА

Поэт, прозаик, переводчик. Родилась в Новосибирске, сейчас живет в Санкт-Петербурге. Окончила Новосибирский медицинский институт и Литературный институт имени Горького. Входит в состав СП Санкт-Петербурга. Нандидат медицинских наук.

Публиковалась в журналах «Новый мир», «Сибирские огни», «Волга», «Дети Ра», «Зинзивер», «Этани», в детском журнале «Нунумбер» и других печатных изданиях. Автор четырех поэтических сборников и трех книг прозы. Представляла Россию на 14-м Международном фестивале поэзии в Буэнос-Айресе, а также на 32-м Фестивале поэзии в Труа-Ривьере (Канада). Стихи переведены на английский, французский, испанский, норвежский, болгарский языки, а также на иврит и фарси.

ДАР

Стихотворение может
управлять человеком.
Вот почему
люди не очень-то любят стихи:
они видят в стихах
акт насилия.
Чем мощнее воздействуют слова,
тем сильнее поэт.
Чем сильнее поэт – тем больше власти
у его слова.
Например,
я не припомню ничего круче
маминых одностопов,
созданных в рамках классической традиции:
«Тебя ждет серьезный разговор».
«Ешь, я сказала».
«Дома, в десять, как штык».
У моей мамы,
оказывается,
был поэтический дар.
Удивительно,
почему ей никто,
никто не открыл этого
раньше.
Может быть, тогда
вся эта жизнь
сложилась бы по-другому.
Мама бы сказала –
и жизнь бы сложилась.
Поэты могут.
Они такие.

НА БЕРЕГУ

Это видео появилось в ленте
у одних знакомых, с которыми
раньше мы были друзьями.
Раньше – лет двадцать назад.
Двадцать, а может быть, больше.
Случайно
отснятые кадры.

Сосиски на шампурах, помидоры и пиво
на берегу обского водохранилища.
Моя разлохмаченная коса
заткнута за ремень
дешевых турецких джинсов.
Со мной две девицы в коротких топах
(имен не помню)

и трое парней,
все трое светловолосы,
все трое мои ровесники.
Я тогда не влюблялась
в светловолосых ровесников,
и потому в тот день
мне было особенно хорошо.

Женились, разводились,
теряли родителей,
зарабатывали гипертонию,
о этот дивный прекрасный мир.
Но сейчас, когда утекло столько воды,
я думала не об этом.
Не только об этом.

Мне стало яснее ясного,
почему ты тогда
с таким упорством
пытался меня растоптать.
Жестокость твоя
стащила с себя одежды,
как прежде, грубо и нагло.

А как еще обращаться с телом,
не жравшим жизни с ножа,
как, если пока еще
самое ценное в этом теле –
его одноразовая упаковка.

Глаза бесстыдные,
не понимающие
своего бесстыдства.

Растрепанная коса,
которую так и хочется
с силой накрутить на запястье.

ПАНТЕЛЕЙМОНУШКА

мне нравится, как шутят
музыканты.
словами не объяснишь,
а смешно.

мне нравится, как шутят врачи.
тут главное,
чтобы шутка была новой.
я все еще надеюсь услышать такую.

но больше всего я люблю,
когда шутят священники
хотя, казалось бы:
им-то над чем?

и все-таки они хохочут
так заразительно.
не в храме, конечно.
в келейке.

потом перекрестятся,
откашливаясь,
пройдут мимо Пантелеймонушки.
а он-то все слышал,

он знает даже о том,
что остается от смеха
в глазах шутильщика,
в веселой его душе.

Пантелеймонушка слушает,
прыскает в кулачок,
но пламя свечи напротив
даже не колыхнется.

ЛИЛИПУТЫ

это случается,
когда человеку уже сорок пять,
или сорок девять,
или даже пятьдесят три,
когда человек еще не настолько стар,
чтобы впасть в маразм,
но, прямо скажем, – свое уже отмолодал,
все большое далеко развеял,
научился просто/мудро жить
и доказал, что лучше гор могут быть,

вдруг

наступает момент:
где-то в небе,
щелкают пальцами,
если это можно назвать пальцами

хрясь –

и до знаменитого архитектора
внезапно доходит,
что он никогда не разобрался
в несущих конструкциях,

трезвый водитель
(стаж вождения тридцать один год)
вылетает на встречу, и – в лобовое

а у стареющего музыканта
по спине бежит холодок:
это – гармония? – спрашивает он себя
и не понимает, не чувствует,
ему кажется, что он
на самом деле никогда не понимал,
не чувствовал,
только врал себе
и другим врал,
но самое обидное – себе.

если после прозрения
им удастся выжить,
они оглядываются по сторонам,
отмолодавшие бедняги,
а там, снаружи,
круглое – уже не круглое,
белое – не белое,
там, снаружи,
словари с такими словами,

клавиры с такими нотами,
люди с такими глазами,
волны с такой амплитудой

жалкие лилипуты
топчутся
среди искаженных форм,
неустойчивых строений,
готовых рухнуть

но обязательно найдется один,
который кричит,
бежит сломя голову
навстречу небелому, некруглому, неустойчивому,
изо всех сил старается выправить
все, что так внезапно
поехало вкривь и вкось.

лилипуты,
будьте бдительны.
обезвредьте его,
иначе
он утянет вас обратно в болото,
этот старорежимный тормоз,
упертый баран,
серость,
про такого поэт сказал:
нет разума в чурбане,

ведь даже ребенку понятно,
что время вперед,
спасибо за наше счастливое время,
держите шаг,
а с нарушителями
мы разберемся
по законам новой эпохи

| Юность №5
| Май 2022

ПРОЗА

СРОЧНАЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ

РАССКАЗ



РОМАН СЕНЧИН

Родился в 1971 году в городе Нызыле Тувинской АССР. Онончил Литературный институт имени А.М. Горького. Проза и пьесы публиковались в журналах «Новый мир», «Знамя», «Сибирские огни», «Дружба народов», «Аврора», «Урал». Автор двух десятков

книг, в том числе «Ничего страшного», «Московские тени», «Елтышевы», «Зона затопления», «По пути в Лету», «Постоянное напряжение», «Дождь в Париже». Проза переведена на немецкий, английский, французский, финский, китайский и некоторые другие языки.

Лауреат премий «Эврика», «Ясная Поляна», «Большая книга», премии Правительства Российской Федерации в области культуры. Участник Форумов молодых писателей «Липки» (2001–2006), театрального фестиваля «Любимовна» (1997, 2010). Нивет в Екатеринбурге.

Свирин шагнул из самолета на трап и сразу задохнулся от запаха сгоревшего угля. И обдало страхом – вспомнилась та единственная его зима в деревне, когда изо дня в день приходилось топить печки и грести, грести, грести в ограде тяжелый снег. Сидение в мороз над дыркой в сортире вспомнилось, черное, в точках стылых звезд небо и пар от дыхания, поднимающийся к нему, ледяные поленья, глыбы угля, которые колешь тяжелым ломом, собачья миска, колодезное ведро, к которым прилипают пальцы... После школы он убежал в большой город, а теперь, спустя тридцать с лишним лет, обстоятельства кидали его в такую зиму. Только не шестнадцатилетнего, а почти пожилого, с болезнями и не проходящей, застарелой усталостью.

Еще не рассвело, и хорошо были видны столбы дыма из труб окружавших аэропорт домишек. На самом деле столбы эти темно-серые, но сейчас казались беловатыми. Уголь, уголь... В Екатеринбурге, где жил Свирин, им не пахло – старый частный сектор почти везде поносили, новые дома обогревались газом, дизелями, электродотлами, а в таких вот небольших городках и деревнях – углем. Может, и хотят люди газ, но где взять? Проведение газопровода в эти края, Свирин интересовался, – в очень отдаленной перспективе, а с помощью баллонов пропана, который, как и сорок лет назад, развозят на машинах, много не нагреешь.

И вот в такой холод собачий мама каждое утро, тщательно одевшись, попрыскав в горло ингалятором, идет в угольник, набирает ведро тускло-черных комков и несет в избу, к печкам, чтобы не замерзнуть. Отец давно уже не помощник, соцработница приходит три раза в неделю ближе к обеду.

Вины Свирин не чувствовал, скорее, досаду – несколько раз в последнее время он заводил разговор о том, чтобы им переехать или в ближайший город, или к нему, а здесь проводить теплое время года. Но мама приводила в ответ аргументы, которые казались ей бесспорными: дом не оставишь – разворуют; если не топить, то и картошка в подполье замерзнет; собаку куда девать; не приживутся они в таком возрасте на новом месте, да и не смогут в бетонных коробках... Свирин отступал, тем более что родители по телефону почти всегда говорили с ним бодрими голосами, и ему казалось, что они по-прежнему крепкие и здоровые...

До здания аэропорта было от самолета метров пятьдесят, но зачем-то людей загружали в автобус, причем не перронный – с низким полом, а «Икарус» со ступеньками, узким проходом меж сиденьями. Пассажиры не хотели садиться, образовывалась давка, короткие ссоры... В этом аэропорте много лет уже так, хотя когда-то разрешали идти из самолета или в самолет пешком, и в этом была своя

прелесть, что ли. Или не прелесть... В общем, как-то хорошо становилось, как в детстве.

Свирин бывал в Черногории – в Тивате. И там никогда никаких автобусов. И в Новосибирске иногда пускают пешком, даже «зебры» нарисованы от здания к самолетам.

Новосибирское Толмачево давно стало для него третьим домом. Там пересадка – прямого самолета из Екатеринбурга сюда нет. Летом вводили стыковые рейсы, но в основном – а теперь приходилось летать и весной, и ранней осенью, – торчал в зоне ожидания по нескольку часов. Хорошо, что курилку даже в период запрета на них не закрывали, иначе приходилось бы кочевать между улицей и зданием через эти изматывающие зоны досмотра...

«Икарус» остановился, двери с шипением раскрылись, пассажиры посыпали из него, вытягивая ручную кладь, по размеру не уступающую багажу. Свирин пропускал вперед нетерпеливых, хотя самому надо торопиться.

Мама позвонила позавчера ближе к вечеру и сказала: ситуация критическая, ему нужно срочно приехать. Еще за несколько дней до того Свирин услышал, что голос у нее стал тусклым, одышка сильнее, какие-то хрятящие выдохи, от которых ему становилось не по себе. Спрашивал, как здоровье, мама отвечала, что недомогают, наверное, простыли, принимают лекарства. И вот – «ситуация критическая».

В течение дня Свирин решал срочные вопросы, вводил в курс дел своего заместителя, а поздно вечером отправился. До Новосиба летели два часа, а в Новосибе просидел семь. Не просидел, а бродил по залам, курил, разглядывал разные безделушки в магазинчиках, поел борща и пасты «Карбонара», хотя голода не чувствовал. Тревога изводила: родители недавно сделали первую прививку против коронавируса, а вот, похоже, заразились. Отец, мама сказала по телефону, почти не поднимается, сама она встает лишь дать собаке полбулки хлеба да в печку подбросить. Соработница приносит дрова, уголь, позавчера сварила молочную кашу – ее и едят кое-как. Приходила деревенская фельдшерка, сказала, что надо в больницу, мама ответила: дождемся сына и решим. Страшно дом оставлять... Напротив них два участка купили дачники, появляются лишь в выходные, да и то не каждые, – и ничего, не разграбили. Не девяностые давно...

– До Кызыла едем, до Ермаков... Черногорск, Черногорск... До Шушенского два места осталось, – встретили таксисты.

Раньше они буквально кричали, тон был этакий приказной, мол, садись – и поехали. После появления у людей смартфонов, набитых разными приложениями, номерами-адресами всех этих «Везет», «Максим», «Делюкс», таксисты стали заметнее скромней, печальней. Но не исчезли – значит, находят еще клиенты.

Свирин отошел в сторонку, достал из сумки «Тел-зап плюс», «Тромбо асс», бутылочку «Аква минерале». Выпил. Каждое утро надо. Давление высокое, кровь густая... Да, самому полечиться бы, а тут... И в то же время, параллельно с досадой, тревогой перед неделями, а может, и месяцами в деревне, в непривычных для него, давным-давно горожанина, условиях, росла не то чтобы радость, а нечто вроде торжественности. На него вот-вот ляжет ответственность – уход за больными родителями, за домом, за собакой, за колодцем-журавлем, который в большие морозы, если не брать воду хотя бы сутки, замерзал так, что приходилось пробивать лунку ломом. Да уж этот лом – сто лет в руках не держал... Свирин управлял небольшой, но все же своей фирмой, имел двух детей. Работа в фирме была давно отлажена, а дети взрослые, самостоятельные; с женой он давно был в разводе. Так что чувства вот такой, непосредственной, ответственности он давно не испытывал...

Заказал «Яндекс.Такси», потом набрал маму. Слушал гудки и замирал от ужаса, что она не ответит, что страшное там случилось. Вчера они немного поговорили, но после этого был вечер, была ночь.

– Алло... алло. – Ее голос, и каждое слово как стон.
– Привет, мама, я прилетел! – выкрикнул Свирин; мама плохо слышала. – Прилетел, еду к вам.
– Да... Слава богу... Едешь?
– Еду. Сейчас такси подойдет.
– Сынок, подожди...

Свирин неслышно, про себя, вздохнул – мама могла начать спрашивать о совсем не нужном сейчас. Как долетел, какая здесь погода... Часто их разговоры растягивались на полчаса, час: маме все было интересно, она пересказывала передачи из телевизора, новости, события в мире, скандалы в семьях Шукшина, Джигарханяна...

– Ты это, сынок... Ты мне купи труссов... Простых...
А то если в больницу...
– Понял, мам, конечно.
– И отцу тапки теплые... Его совсем... развалились...
– Куплю.
– Ой, а как же... Ты на такси ведь...
– Заеду, – перебил Свирин.
– А можно?

- Можно, мам, можно. Не волнуйся.
- Но таксист запротестовал:
- Вы ведь до Захолмова заказали, других адресов не было.
- Я... – В горле запершило от угольного дыма, и Свирин осторожно, чтоб не напугать водителя возможным ковидом, кашлянул. – Я доплачу.
- Да не в этом дело. Время, все такое...
- Что, отменять заказ? На пять минут всего на рынок...

Водитель, немолодой, явно не спавший ночь, вздохнул:

- Ладно, поехали. Сколько добавишь?

До деревни на экране смартфона высветилась тысяча двести рублей. Свирин решил дать сверху пятьсот. Услышав, водитель приятно удивился, хотя виду постарался не показать.

Автоматический женский голос в салоне поприветствовал и напомнил, что необходимо пристегнуться и использовать защитные маски и перчатки...

Рынок только-только открылся, торговцы раскладывали свои товары. Свирину повезло – быстро нашел хлопчатобумажные трусы, тапки, прикупил кой-какой еды, кусок баранины, куриные грудки. В деревенских магазинах с продуктами, знал, не очень.

- Ну все, теперь можно и в деревню.

Получилось это бодро и даже как-то довольно, а в душе все усиливалась тряска. Что его ждет через неполный час, что будет потом. Эти трусы... Сколько взрослых и пожилых сыновей ухаживают годами за немощными родителями. Моют, выносят горшки, переодевают, кормят с ложечки. Страшно, страшно...

Снег еще не лег, хотя давно должен был, и от этого делалось особенно тоскливо – чернота повсюду, замерзшая грязь, изможденность природы... И неба не видно, да что там неба, предметов в сотне метров – оловянная пелена вокруг.

- Что-то совсем задымленно, – сказал Свирин. – Раньше, кажется, такого не было.

Водитель с готовностью отозвался:

- Две гидры под боком, а тарифы повышают и повышают. Вот и жгут. Еще и уголь-то стал... Антрацит повыбрали, теперь бурый в ход пошел. А от него ни жару путного, зато копать вон...

Обогнули город по узенькой и тряской Кольцевой. По ней раньше ездили только дальнобои, но после того как развелось много легковушек и в центре стали возникать серьезные пробки, поехали и частники.

Свирин сидел сзади, придерживал пакет с покупками и смотрел в окно. Пытался разглядыванием

деревьев, дорожных знаков, гор, которые теперь, когда выехали из города, проступили вдаль, придавить мысли, тревогу, противный тремор внутри...

По этой дороге он ехал раз, может быть, в трехсотый, пятисотый. Все эти почти тридцать лет из аэропорта и в аэропорт, а сначала в город из деревни и в деревню, в которой их семья купила дом, переселившись из Ташкента летом девяносто первого... Да, тогда Свирин при первой возможности старался побывать в городе: ему, городскому, столичному парню, все в деревне казалось убогим, грязным. Буквально тошнило. А потом и холода начались, потом – зима, которой он до этого по-настоящему и не знал. Это не зима, понял, когда на улице несколько дней немного за минус и ты в квартире с теплыми батареями; зима – когда минус тридцать и ниже неделю, две, три, и если вечером не протопишь хорошенько избу – к утру замерзнешь насмерть.

Тогда он очень злился на родителей из-за переезда. Лишь потом, поступив в университет в Екатеринбурге, познакомившись с теми, кто буквально бежал из Средней Азии без всяких вещей, только в том, что было на них надето (а с некоторых и пальто сдергивали, шапки срывали), понял: за их цивилизованный переезд с контейнером мебели, одежды, посуды, за покупку просторной избу и большого участка земли родителей нужно благодарить...

Он и благодарил. Больше не словами – делами. Каждое лето обязательно приезжал к родителям (долго говорил «домой»), проводил по месяцу, а то и больше. Помогал по хозяйству, копался в огороде. Привозил жену, дочерей. Потом, когда с женой развелся, а дети выросли, бывал один (правда, в этом году удалось старшую уговорить, погостила неделю), к лету добавились весна, осень. Колот дрова, подновлял забор, выстелил плахами двор. В общем, старался сделать жизнь мамы и отца немного легче. Несколько лет уже предлагал переехать в город или к нему в Екат. Отказывались. Может, и правильно. В городе вон угар какой – задохнутся. Тем более у мамы астма...

До деревни было почти семьдесят километров. Сначала степь, потом шли островки сосен, а потом и сплошной сосновый бор, который дальше сменится тайгой. Как раз на границе бора и тайги и стояло их Захолмово. Вот эти самые холмы-увалы и дали название деревне. Сосен все меньше, их вытесняют березы, ивняк, в низинах – елки.

Пошли сплошные березы, толстые, но изогнутые, корявые, и все равно праздничные, даже родные. Да,

по этой роше Свирин всегда определял, что деревня совсем рядом.

Пригляделся, недоуменно-возмущенно хмыкнул: березы росли двумя узкими полосами вдоль дороги, а дальше – пустоши. Их раньше не было, этих пустошей, – наверняка попилили березы. Топят-то в основном березовыми поленьями, уголь вечерами засыпают, чтоб настоящий жар нагнать... Или, может, все-таки не замечал – из-за листвы всегда казалось, что роща широкая. В такое время года – в позднее предзимье – он сюда не приезжал.

Березы оборвались, вернее, словно расступились, и поплыли за стеклами машины домики, заборы, ворота.

– Командуйте, куда, – сказал хриловато после долгого молчания водитель.

– Пока прямо.

Изменений особых Свирин не замечал. Последний раз приезжал сюда неполные три месяца назад, в начале сентября, копать картошку, прибирать огород. Впрочем, одно огромное изменение было – деревня замерла, приготовилась к долгой зиме. Конечно, никакой спячки у людей не будет, но работы станет, конечно, меньше, зато выполнять ее сложнее из-за холода, тяжелой одежды и мертвенного покоя вокруг (карканье вороны, синица под окном станут событием), ощущения запертости.

Нет, по-прежнему нужно проводить много времени на воздухе, но постоянно тянет в тепло, в избу. А в ней вскоре становится скучно, тоскливо, душно.

– Здесь налево, пожалуйста.

Но, может, он нагнетает? Может, переносит свои воспоминания о той зиме с девяносто первого на девяносто второй на все другие зимы в деревне? Может, не все так страшно?.. Ведь сколько раз мама с отцом рассказывали или писали в письмах, как тут солнечно, какой снег пушистый, как ребятня играет в хоккей на пруду, катается на лыжах. Заманивали приехать? А лет пять назад сообщили, что собака у них замерзла в пятидесятиградусный мороз. Вечером чуть ли не силой пытались завести ее со двора в сени – не шла, упиралась, видимо, считая человеческое жилище священным; мама бросила ей в будку старую шерстяную кофту, но утром нашли замерзшей. Свернулась калачиком и застыла... Весной завели новую, назвали так же, как и прошлую, – Чичей.

– Так, еще раз налево. И... – Свирин выдержал паузу, дожидаясь, пока машина, покачиваясь на замерзших волнах грязи, доедет до их ворот. – И вот здесь. Спасибо. – Вынул пятисотку, и мобильный как раз звенькнул, сообщая, что деньги с карты снялись.

Чича зашла было в лае, но узнала и завияляла хвостом, склонила морду, будто извиняясь, что облаяла своего.

– Привет, привет. – Свирин скорее поднялся на крыльцо, прошагал через сени, вошел в избу.

И сразу почувствовал, как в ней холодно. Видимо, печки с вечера не топили. Их две. Одна на кухне, другая между спальнями. В основном использовали одну печку, на кухне, вторую, Свирин знал, протапливали только в сильные морозы. Родители в холодное время года жили на кухне и в большой комнате, а проемы в спальни – дверей в избе не было – зашивали толстыми одеялами.

Отец лежал на диване на кухне. На Свирина отреагировал – приподнял голову, посмотрел мутными, как бы совсем без зрачков, глазами. И снова опустил голову на подушку. Узнал или нет, Свирин не гадал, главное, жив.

В ботинках прошел в комнату. Позвал:

– Мама.

Она, заваленная одеялами, покрывалами, даже не приподнялась, а как-то потусторонне произнесла, как кому-то сообщила:

– Игорь приехал.

Свирину стало жутко.

– Мама, вы как?

– Ири... Врач обещала прийти. В больницу нам надо.

– Я сейчас печку затоплю. Обогреватель почему выключен?

– Включи... Пожара боялась.

Включил электрокамин, без мыслей, боясь думать, зарядил печь, потом, когда разгорелась, снова кинулся к маме:

– Вы есть хотите? Куриную грудку сварю?

– Свари... Ирина Игоревна не пришла? – Это местный фельдшер, при Свиристине она не раз ставила маме уколы во время приступов астмы.

– Нет.

– Ох... Где же... Обещала.

– Придет. Пойду приготовлю.

Поставил на плитку кастрюлю с водой, отметив, что кастрюля помыта плохо, хотя мама всегда все делала тщательно, достал купленную на рынке грудку. Положил в воду. Подбросил дров в печь.

– Ну вот, – сказал маме, – сейчас тепло станет.

Поедим...

Переоделся. Джинсы были новые, дорогие, не хотелось их замарать. Привез с собой толстые спортивные штаны. У родителей одежды было два шкафа, но вся какая-то старая, неудобная. Давно ничего нового не покупали. Не из экономии, а просто, мама говорила, сил не хватает по магазинам ходить.

Знают два продуктовых рядом с автобусной остановкой, а промтоварные (это слово теперь разве что от мамы и слышал) далековато...

– А на гарнир что? – спросил. – Рис, макароны?

Мама молчала.

– Мам, – позвал громче, пугаясь, что она теперь никогда не ответит.

– Ой... сам... Чаю. Сухо во рту... жжет.

– Воды принести?

– Вода есть... без толку...

– Сейчас.

Почти побежал на кухню. Чувствовал растерянность и беспомощность. Конечно, умел готовить – много лет жил один (не считая кратковременных романов с таким же кратковременным сожительством), но сейчас не понимал, за что хвататься. Да и кухня в избе – это не городская. То и дело приходилось шагать к умывальнику, споласкивать руки, и вода в нем быстро кончилась.

Горячей воды не было; электрическая плитка с двумя конфорками, а плита на печке еще не нагрелась. На печку переставил кастрюлю с рисом; чайник же на конфорке и спустя минут пять был холодный. Сколько раз Свирина предлагал купить электрочайник, мама все отнекивалась: проводка старая, не выдержит... Догадался переставить чайник на ту конфорку, где варилась курица, и он сразу заурчал.

– Кто здесь? – видимо, разбуженный его движениями, звяком посуды, спросил отец.

– Я... Игорь. Привет.

– А ты чего?..

– Приехал... Вы болеете, и приехал.

– Болеем? – слабо удивился отец, помолчал, будто изучая свое состояние, и сказал: – Да, болеем. Я посплю?

– Конечно. Скоро курица будет. Поедим.

Свирин постоял, ожидая от него каких-нибудь слов, не дождался. Наверное, снова задремал. В последние годы он много спал. И Свирина вспомнилось, как отец, казалось, совсем недавно, удивлялся пожилым родственникам, которые много спали. Как-то они вместе пришли что-то у них взять, дрель или «болгарку», часов восемь утра было, и еле достучались. Отец потом говорил, что так постоянно. «Тут жить скорей надо, а они – и утром спят до обеда, и после обеда до ужина. Не понимаю».

Нет, давно это было, лет тридцать пять назад, но действительно, как бы и только что. Бывают такие воспоминания. Они пугают, потому что кажется, что ничего между тем днем и нынешним не было.

Было, много было. Почти ставший теперь миром родной Ташкент, переезд, университет, свадьба, дети, приезды сюда и отъезды с сумками, набитыми помидорами, солеными грибами, сибирской рыбой... Тридцать пять лет назад отец был крепким мужчиной, который без усилий подтягивался на турнике полтора десятка раз, переплывал кролем их широкий пруд, а теперь – еле ходит... Мама обесилела как-то резко – в последние два года, хотя давно болела астмой, раньше, до деревни, часто лежала в больнице: как весна с ее буйным цветением и пыльными бурями, так у нее приступ за приступом. Здесь же сосновый бор в сотне шагов. А может, дело в том, что преднизолон стала пить – лет до пятидесяти не решалась, боялась гормонов, располнеть...

Несколько раз с этим преднизолоном возникали проблемы. То ли какую-то лицензию не могли получить, то ли еще что, но он исчезал из аптек. Свирина просил своего приятеля из Эстонии привезти, специально летал к нему на встречи в Москву. В Екатеринбурге через знакомую как-то получил рецепт, потом гуглил аптеки. В одной маленькой окраинной увидел, помчался, купил семь упаковок. До сих пор мама пьет.

Но сейчас у нее не приступ астмы, а что-то другое.

Другое, другое... Да что гадать – наверняка коронавирус. Тем более вместе с отцом заболели, в одно время. Грипп или простуда так не проявляются – чтобы такая слабость... Или все-таки не он. Теперь везде он мерещится. Надо спросить, чувствуют ли вкус еды, запахи...

Отнес маме чай, предварительно несколько раз перелив из чашки в чашку, чтоб немного остыл.

– Сейчас курица доварится, рис почти готов. Вставай, поедим. Или сюда принести?

– Я... я встану... – Мама с жадностью хлебнула чай. – Ох, спасибо... Что-то Ирина... Игоревна никак...

– Давай я позвоню.

– О! Позвони... Там на листочке телефоны... И ее.

Свирин подошел к письменному столу. Большому, с широкими тумбами. Когда-то он стоял в отцовском кабинете. Отец был рабочим на авиационном заводе, и в кабинете, тем более с таким столом, необходимости вроде бы не было, но в свободные часы отец сидел за ним, читал книги, что-то писал. Позже Свирина узнал, что он пытался написать книгу о своих родителях, которые из-под Ленинграда в сорок первом были эвакуированы с заводом в Ташкент и там остались; о предках мамы, приехавших в Среднюю Азию еще в конце девятнадцатого века;

о самом Ташкенте, в котором смешалось столько культур и народов. После массовых драк узбеков с неузбеками в начале восьмидесят девятого года свою книгу он бросил и заговорил о переезде в Россию...

– Нашел. Вот.

– Звони, сынок... Не могу...

Телефон Свирина здесь ловил плохо – нужна была местная симка. В мамином номер фельдшерницы обнаружился первый. Зря в бумажках копался, потратил драгоценное время... Ожидал гудки, но вместо них раздался автоматический женский голос:

– Внимание, линия перегружена. Позвоните позже.

– Линия перегружена, – сказал маме.

– А, у нее всегда... Думала, хоть сегодня... – Мама произносила фразы с болью, но и как-то отстраненно, что ли. Как откуда-то издалека. Как уже не отсюда.

Свирин стоял с большим черным смартфоном «Ксиоми», который купил родителям этой весной, чтобы у них наконец-то был интернет – еле уговорил, – и не знал, что делать.

– Может, поедите? – спросил.

– О-ой... Не могу... ничего...

«Да что я!» Он чуть не хлопнул себя по лбу. Можно ведь напрямую вызвать скорую. Взять и вызвать. Действительно, что-то с ним происходило. То ли из-за перелетов и сидения в Толмачево, то ли возраст. Что, и в пятьдесят может накатить слабоумие. А скорее всего, просто не умел он быть сыном беспомощных родителей. Пока не умел.

Набрал 103. Гудки, слава богу, а не это «линия перегружена». Может быть, фельдшерница специально поставила такое на автоответчик, чтоб не понимали. «Не надо», – остановил себя Свирин. Было страшно думать о ком-то плохо, казалось, от цвета его мыслей будет зависеть здоровье родителей и его положение. Хотелось, очень хотелось чуда: сейчас родителей увезут, а дней через десять они вернуться здоровыми, сильными. И Свирин, окрепший за это время от физической работы, вернется в Екат, в свою квартиру. А утром поедет в офис и узнает, что все отлично...

– В целях повышения качества обслуживания ваш разговор с оператором записывается, – прожурчало в трубке. – Слушаю! – раздалось следом; резкий мужской голос и – фоном – какое-то потрескивание, звонки, голоса.

– Здравствуйте. Это вас беспокоят из села Захоломово, – начал Свирин.

– Какой район?

Назвал район.

– Переключаю.

Снова потрескивание, но другое – будто там вручную вставляют штекеры в нужные гнезда, как в старых фильмах.

– В целях повышения качества обслуживания ваш разговор с оператором записывается...

– Алло. – На сей раз голос женский, но тоже резкий, измотанный.

– Здравствуйте. – И Свирин стал объяснять, что с его родителями, требуется скорая помощь...

– На коронавирус мазок был? – перебил голос.

– Был...

– Результаты?

– Вчера был... Еще не было. – Свирин кряхтнул, злясь на себя, что его волнение отражается в речи, – обычно он выражался складно, давно выработал в себе крепкую, начальницкую интонацию. – Результаты обещают завтра.

– Результатов нет... И какую я вам бригаду pošлю?

– Ну...

– Я не могу рисковать жизнью врачей. Нужно дождаться результатов анализа.

Он хотел закричать, но задохнулся, подавился криком. Снова кряхтнул, выталкивая из горла воздушную пробку, сказал ровно, глухо:

– Здесь люди умирают. Им нужна помощь. Если помощи не будет, вы станете убийцей.

– Молодой человек, не нужно мне угрожать.

– Я не угрожаю, я...

Залаяла собака во дворе. Сначала зло, а потом, почти сразу, дружелюбно.

– Секунду, – сказал Свирин в телефон.

– Что? – не поняли там.

– Врач, кажется. Не отключайтесь.

– Молодой человек!..

Не слушая, Свирин пошел к двери. Понимал, без помощи местной фельдшерницы ничего он не добьется. Были бы они в городе, была бы машина, привез бы к больнице и – попробуйте не принять.

А если бы не приняли?.. Черт, не знает он, как нужно, как это все устроено. Все отводила жизнь, и дети ни разу в больнице не лежали, жена рожала легко, а теперь – как удар по морде. Оглушающий.

– Здравствуйте, Ирина Ви...

– Игоревна, – перебила-поправила фельдшерница. – Приехали?

– Да, вот... Я как раз со скорой говорю. Не хотят приезжать. – И Свирин протянул ей телефон.

Она мотнула головой – не надо, – стала снимать пальто. Свирин поднес телефон к уху.

– Алло. Алло!

В нем было тихо и пусто.

– Я должна сначала осмотреть, измерить температуру, – спокойно объясняла фельдшерница. – Если будут показания – сделаю вызов.

«Да какие еще показания – они ведь полумертвые!» Но Свири не выкрикнул это вслух, почему-то оробел. Даже покивал согласно. Типа, вам лучше знать...

Фельдшерница подняла с подбородка маску на нос, сполоснула руки под умывальником. Прошла к маме. Свири остался на кухне, подбросил в печку, сдвинул на край плиты допревший рис... Очень захотелось есть, но ведь не будешь сейчас... Слышал мамин голос, полный сухими слезами, слова не долетали, да он и не хотел знать, что именно она говорит. Хотел одного сейчас – чтобы осмотр прошел быстро, приехала машина и увезла их в больницу. И дней через десять они вернулись...

«Одного», – усмехнулся. Да не одного хотел, а очень многого, наверное, непомерно многого в этих обстоятельствах.

Фельдшерница вышла из комнаты, направилась к дивану, где лежал отец.

– Здравствуйте, поднимаемся, – заговорила и по-доброму, и строго, как умеют воспитательницы в детском саду. – Садимся. Температуру померим, послушаем...

Отец завозился, но сесть, кажется, ему сил не хватало. Свири подбежал, помог. Почувствовал, какой он худой. Буквально кости, покрытые теплой, иссушенной кожей.

– У вас-то прививка есть? – спросила фельдшерница.
– У меня? Да, оба компонента. – И Свири уточнил, будто это важно: – Весной делал.

– Хорошо. Майку ему приподнимите. Так, градусник. Прижмите крепче рукой... Тихо. – Приложила кругляш стетоскопа к отцовской груди. Послушала, переместила в сторону. Послушала. Потом – спину.

Отец сидел, опустив голову. Непонятно было, понимает ли он, что с ним делают, бодрствует ли вообще или снова погрузился в тяжелую, медленно утягивающую его из жизни дрему... Свири, как только вошел сегодня в избу, ощутил эту мертвящую дрему. Если не растолкать, не помочь лекарствами, ободряющими словами, заботой – уснут навсегда.

Мама поседела уже давно – голова стала ровно белой, а отец сидел медленно, и черные волосы чередовались с серебристыми. На темени только недавно появилась небольшая проплешина, Свири же стал лысеть лет пятнадцать назад, и макушка у него была гладкой, словно отполированной, а надо лбом

остался некрасивый, какой-то неопрятный клок. Приходилось чуть ли не каждый месяц ходить в парикмахерскую.

Зачем-то сейчас вспомнилось выражение: протер лысину на чужих подушках... Да, он, Игорь Свири, и студентом был Казановой, и жене изменял, и после развода женщин у него сменилось достаточно. А отца он помнил всегда рядом с мамой. Вернее, они всегда были друг с другом. Никаких командировок, поездок по отдельности в другие города и тем более на отдых, как принято стало в последнее время.

Два года назад они отметили золотую свадьбу. Тихонько, без гостей и торжеств – даже администрации района не сообщили, хотя им положен был какой-то подарок. И Свирина не стали звать, а на его предложение коротко прилететь ответили: не надо, лучше летом лишние дни побудь. Он не настаивал – в таком возрасте любой праздник не очень в радость, суета и волнение опасны. Посидели вдвоем за скромно накрытым столом, выпили из хрустальных рюмок, купленных еще в семьдесят каком-то, настойки, сделали косоватое селфи, прислали вместе с комментарием: «Полвека вместе». Даже без восклицательного знака. И правильно – точка надежнее.

– Ничего не слышу. Ни хрипов, ничего, – сказала фельдшерница досадливо. – Температура тридцать шесть и четыре. Ох-х... – И громко, как к глухому, обратилась к отцу: – Как вы себя чувствуете?

– Нормально... Я лягу? Посплю маленько...

– Нельзя столько лежать. Сейчас я вам кофеин поставлю.

Свири как-то отрешенно, как бы тоже засыпая, наблюдал за фельдшерницей. Вот достала из сумки шприц в упаковке, коробку с ампулами, бутылек, видимо, со спиртом, вату...

– Надо скорую, – отгоняя сонливость, сказал. – И в больницу. Они ведь совсем... – И запнулся, не находя слова; вернее, слов, обозначающих состояние родителей, было множество, но все пугали. – Слабые, – наконец нашел самое мягкое, нейтральное, что ли.

– Надо, конечно. Только нет гарантии, что примут. Вот если бы результаты ковида были... Завтра должны прийти?

Свири пожал плечами. Но ответил утвердительно:

– Да, завтра.

– У бабушки-то я слышу хрипы, и температура высокая. У нее пневмония однозначно. А здесь...

Свирина кольнуло, что фельдшерница, сама уже далеко не молодая, называет его маму бабушкой.

Хотелось поправить: «Не бабушка, а Галина Павловна». Не стал. Побоялся рассердить.

– Здесь... Не знаю.

– Но ведь вы сами видите, – кивнул Свирин на отца, который медленно, как сухое дерево, валился на диван. Вот голова вмялась в подушку, туловище на простыню, тонкие синеватые ноги, напомнимшие вывернутые корни, приподнялись и тоже легли. Руки потянули на них одеяло... Свирин помог укрыться.

– Я позвоню. – Фельдшерница собирала инструменты.

– Куда?

– В скорую. – И, поймав вопросительный взгляд Свирина, объяснила: – Я по стационарному. У них высветится номер пункта, а то мало ли... Больницы переполнены все.

– Да.

Свирин хотел помочь ей надеть пальто, она остановила. Догадался, боится заразиться. А может, еще какая причина...

– Спасибо вам, – сказал на прощание; не выдержал, добавил: – Поскорей бы скорую. Мне кажется, они на последнем... – Снова появилось несколько слов, страшных, которые сейчас нельзя произносить вслух, даже мысленно проговаривать. – Плохо им.

– Я скажу, что требуется срочная госпитализация. Не волнуйтесь. Они и вчера такие же были. – Заметила, наверное, недоумение на лице Свирина, объяснила: – Мама ваша сказала не вызывать скорую. Вас ждала.

Свирин покачал головой.

Фельдшерница вышла. Залаяла и умолкла Чича.

Свирин выхватил из кармана пуховика сигареты, но выходить в сени не решился. Вдруг мама позовет. Или отец.

Присел на корточки перед печкой, закурил, дым пускал в сторону дверцы. Тяга подхватывала его, уносила через щели в топку.

Голос мамы из комнаты. Неразборчивый, слабый.

– Иду! – Свирин приоткрыл дверцу кочергой, бросил в огонь окурки. Поднялся.

– Она... позвонила? – кажется, с большим, чем полчаса назад, усилием выдавливала мама слова.

– Да, позвонила. – Он не стал объяснять, что фельдшерница позвонит с работы. – Наверное, едут уже.

– Хорошо... Документы, посмотри... на столе?

Свирин посмотрел.

– Да, паспорта. – Открыл их. – Страховые, пенсионные. Все здесь, мам.

– Не забыть только. – И после паузы: – Надо... обратиться надо.

– Да. Помочь?

– Я пока сама. Потом...

Она попыталась сесть и не смогла.

– Ох...

Свирин помог маме сесть, удивившись, какие мягкие у нее плечи. Ни одна жилка, казалось, не напрягалась, ни одна мышца.

– Подай мне... – Показала глазами на лежащий на столике у кровати пакет с трусами.

Хотел подать весь пакет, но понял, что и достать из него пятиграммовую тряпочку для нее сейчас большой труд; вынул, подал. И похолодел от мысли, что мама может попросить помочь. Это была не брезгливость, а страх чего-то противоестественного. Маленького ребенка родителю одевать – это естественно, но взрослому ребенку родителей... Тем более сыну мать...

– Я отвернусь, – сказал, – скажи, если что.

– Да... Сама пока...

Смотрел в окно. Сразу за ним небурные былинки цветов. Астры или что там мама сеет каждый год... Темные прямоугольники вскопанных грядок. Дальше – плачущая береза. Еще дальше – пруд. Темнеет на льду тропинка...

Не хотел слышать звуки возни за спиной, болезненное кряхтение, всхлипы. Но слышал, слушал, прислушивался. Равновесие бы не потеряла, не упала.

– Ох... вроде...

– Можно?

– Да.

Повернулся. Мама сидела на кровати, прикрыв ноги одеялом.

– Халат вот... этот... – кивнула на спинку кресла, – дай...

Подал халат, отвел глаза. Взгляд устался на корешки книг. Диккенс, Диккенс, Диккенс... Собрание сочинений. Тридцать темно-зеленых томиков. Свирин подростком пытался их прочитать. Сначала подряд, а потом те романы, которые советовали родители. «Оливер Твист», «Дэвид Копперфильд», «Домби и сын», «Наш общий друг»... Везде там герои страдают, оказываются на краю пропасти, готовы отчаяться, но на последних страницах обстоятельства складываются так, что они становятся счастливыми и богатыми.

– Готова...

– Молодец, мама. Пойдем, может, поедем? В больнице ведь долго... – Свирина хотелось говорить гладко, уверенно, но фразы рвались на отдельные слова. – Оформление... Давай?

– Надо бы.

Помог ей подняться, повел на кухню. Снова от-метил мысленно, что она дышит тихо, неслышно, не как обычно. Сказал ей об этом.

– Да я... не дышу... почти... Спа... спазмы...

Усадил, быстро положил в тарелку риса, кусок курицы. Хлеб достал из хлебницы. Слава богу, на-резка. Не надо возиться.

– Отец, позавтракай, – звал заодно. – Вот мама пришла. Вставай, пожалуйста, поедим. – Отец молчал.

Свирин потормошил его. Глаза приоткрылись, смотрели непонимающе.

– Давай поедим, – повторил Свирин.

– А я не хочу.

Сказано было так, будто Свирин заставляет отца делать что-то отвратительное, чего он не может допустить.

Мама ковырнула вилкой курицу, и вилка выпала из руки на клеенку. Свирин метнулся к столу воз-ле печки, принес нож, порезал кусок.

– Ешь, мама. Силы нужны.

Действительно, казалось, что главное – накормить родителей. И тогда слабость сразу пройдет, болезнь испарится, исчезнет.

– Какие штаны у тебя, – сказала мама, – инте-ресные.

– В смысле? – Он обрадовался, что она проявила к чему-то интерес, и сам глянул на свои черные треники.

– Написано там...

И Свирин впервые обратил внимание, что там, на левой штанине, что-то есть. «Brooklyn. EST 1967. Athl».

– Название команды спортивной, – сказал, хотя не был уверен; но надо было объяснить.

– Теплые?

– Теплые, мам, теплые... Отца бы как-то поднять.

– Вале-ерий Петрович, поднимайся, дружок, – по-звала мама вдруг крепким и ласковым, нараспев, голосом, и Свирина поверилось, что эти съеден-ные ею крошечки курицы, несколько рисинок вернули ей силы.

Но нет, договорилась она уже с усилием, выдавли-вая, как и прежде, каждое слово:

– Игорь вку... вкусно так... приготовил... Вставай...

Отец сделал движение, наверное, собираясь под-нять, и затих. Мама больше его не окликала.

– Попить бы, – попросила. – Печет...

Свирин вскочил:

– Чаю?

Она кивнула.

38

Чайник стоял на печке, был горячий. Заварил пакетик... В последние годы родители чай почти не пили, перешли на цикорий, но сейчас было не до цикория. Да Свирин и не знал, как этот цикорий го-товить, где он вообще лежит.

– Вот, мам, – поставил чашку по правую руку.

– О... хорошо... – Отпила немного. – Такая жажда... Где же скорая...

– Еще немного времени прошло. Едет.

– Никогда оно так... не тянулось... Все не хватало... торопилась... а эти дни... Бесконечно... И ничего не могу...

Да, мама действительно всегда чем-нибудь за-нималась. Даже телевизор смотрела штопая, или картошку при этом чистила, горох, фасоль лушила; в последнее время с удовольствием пришивала к но-совым платкам кружевные ленточки. В общем, нахо-дила дело. И вдруг... Именно вдруг – еще в сентябре, когда Свирин приезжал сюда в прошлый раз, была бодрой для ее почти восьмидесяти, на его прось-бы посидеть, отдохнуть даже сердилась; помогала спускать в подпол кули с картошкой, ящики с лу-ком, чесноком, готовила, посуду мыла, а теперь – вот... И это не просто болезнь, которая пройдет, от которой возможно оправиться без следа. Это...

Мама сидела сейчас перед ним словно помоло-девшая – глаза, давно блеклые, выцветшие, были черны, кожа на лице разгладилась, щеки румяные. Но что-то зловещее было в этом преображении.

– А собаке-то, – встревожилась она, – собаке дал?

– Нет пока. Не до нее.

– Дай... Она... на хлебе одном... Полбулки кидала...

Там, – мама слабо качнула головой в сторону хо-лодильника, – колбаса... ливерная... подкроши...

– Я знаю, знаю, – перебил Свирин. – Не трать силы.

Намешал Чиче похлебки из риса, кусочков по-темневшей, заветрившейся ливерной колбасы, хле-ба, теплой воды. Вынес. Заодно покурил, глядя на огород.

Он лежал чистый, прибранный, готовый к зиме, снегу, который весной растает, напитает землю, и мама с отцом позовут соседа Володю с мотобло-ком, чтобы вспахал деляну под картошку, сами будут ковыряться, налаживать грядки, сеять мор-ковку, редиску, перенесут из избы в теплицу ящики с рассадой помидоров, перца, капусты. Как все эти тридцать лет. Обязательно. Иначе не может быть. Не может!..

– Да где же они? – первое, что услышал Свирин, когда вернулся. – Нет машины?

– Нет, мам. Еще рано.

– Да как же рано?.. Не могу больше... совсем...

Свирин посмотрел на часы. Ругнул себя, что не отметил, во сколько ушла фельдшерница. Но уже точно около часа назад. Ехать из города минут сорок. Но ведь пока она дошла до своей работы, пока те собрались...

– Может, позвонить в скорую? – предложил.
– Да, конечно... конечно, звони... сынок... Не дотерпим ведь... Критическое... состояние, скажи...

И снова гудки, снова «в целях повышения качества», снова «Алло!».

Свирин стал объяснять, что час назад вызвали скорую, врач вызвала, родители в критическом состоянии.

– Так ведь отказ же поступил, – сказали в телефоне.
– Что? В каком смысле?
– В прямом. Позвонила бабушка, – опять это «бабушка!» – и отказалась.
– Никакого отказа не было! Я все время рядом с мамой. Никакого отказа! Срочно нужна помощь. Срочно! Они умирают, понимаете!
– Вы не кричите, молодой человек. Поступил отказ, что я могу сделать...

У Свирина плыло перед глазами. И в голове рвало. Будто череп раскрыли и выдергивали мозг.

– Мы не отказывались... У вас, – вспомнил, – разговоры записываются. С какого номера был звонок с отказом?
– Мы не имеем права раскрывать данные.
– А не ехать к тяжело больным имеете?
– Молодой человек, я уже вам сказала...
– Так я сейчас подтверждаю вызов. Пожалуйста, окажите срочную помощь больным. – И Свирин четко произнес адрес.
– Заказ принят, – последовал сухой ответ; но главное – «принят».
– Что там? А? – как только положил телефон на стол, стала спрашивать мама. – Игорь, что?

Свирин объяснил. Мама заплакала. Ему хотелось ее успокаивать, и не мог. Сполз на стул, сгорбился. Потряхивало, ноги под коленями стало крутить. При чем здесь ноги? Не бегал, не ходил почти, с чего им нить? Но вслед за ногами и руки заняли, и в боках. В голове продолжало рваться... Вот так и теряют здоровье, вот так и дряхлеют. Не постепенно, а... Слово, подходящее слово!.. А из-за обстоятельств, таких вот ударов.

Да, это удар. И он, Игорь Свирин, оказался к нему не готов. Все думал, что родители вечно будут пусть не молодыми, но... но не такими вот.

– А ты чего? Галь? – приподнялся отец на локте. – Чего?

– Не хотят... нас... в больницу, – захлебываясь сухими рыданиями, ответила мама.

Что-то детское было в этом. Детская такая обида. И неудивительно – и ребенок слаб и беззащитен, и старый человек.

– Мама, мама, не надо, – попросил Свирин, тоже сбиваясь на рыдания. – Сейчас приедут. Увезут. Вылечат. Капельница, лекарства... Не надо, мам... Сейчас я еще раз. – Схватил телефон.

Гудки, непременно предупреждение, что разговор записывается, женский голос.

– Это снова из Захолмова...
– Да выехала машина, господи, выехала! Ждите!
– Выехала, сказали, – передал Свирин маме. – Значит, скоро.

Мама не могла успокоиться. Но рыдания были совсем тихие, слабые. Утирала глаза и губы платочком. Одним из тех, что обшивала кружевами.

– Да! – встрепенулась. – Ведь это... Там... под столом, – кивнула в сторону комнаты, – в железной коробке... документы. Принеси.

– Потом, мам, – поморщился Свирин; это было совсем уже – как прощание.

– Сейчас надо... Неси...

Откуда у них появилась эта коробка, он не помнил. Старых, до революции, вещей больше не было. Только эта коробка из-под карамели. «Карамель. Высший сорт»... Мама за ней ухаживала, когда краска на выдавленных на жести цветочках обшелушивалась, подновляла гуашью или чем-то подобным.

В коробке хранились когда-то открытки, письма, а теперь разные документы, квитанции за свет, земельный налог.

Свирин отодвинул тарелку с едой, поставил коробку перед мамой.

– От... открой... Достань.

Открыл, достал какие-то бумаги, вложенные в мультифору.

– Не то... Дальше... Вот. Это...

Вынул из шуршащего целлофана стопочку сложенных пополам бумаг. Свидетельство о государственной регистрации права, договор купли-продажи земельного участка, межевой план...

– Если с нами что... Наследство... оформи... Только, сынок... – Снова стали рваться рыдания. – Не продавай дом... Не продавай!.. Обещаешь?

– Конечно! – ответил Свирин торопливо, опережая тот миг, когда перед глазами возникнет картина безлюдной избы, заросшего сорной травой огорода, пустой собачьей будкой... Несколько минут назад он заклинал кого-то, что-то: весной все будет так, как было год назад, двадцать лет на-

зад, тридцать... А теперь словно услышал, что закливание не поможет.

Нет, все будет нормально. Сейчас приедут, заберут, вылечат. Да. Да.

– И деньги еще... В верхнем ящике... В конверте...

– Хорошо, мам.

– Хлеб через день... привозят. Не пропусти. Чтоб в магазин... не ходить.

Свирин повторял:

– Хорошо. Хорошо.

– Что... еще?.. – Она сдвинула брови. – А... в теплице... там под брезентом... капуста мелкая... Собаке кроши... вари... ей тоже витамины... нужны.

Захотелось самому зарыдать от этой ее заботы о витаминах собаке в такой момент, когда сама еле-еле, «чуть тепленькая», как говорила их соседка из дома напротив тетя Валя. Умерла в позапрошлом году.

– И ты тоже... питайся хорошо... Полный холодильник... А!.. А с работой как? – нашла мама новый повод для беспокойства. – Сможешь здесь... пока?

– Смогу, мам, смогу. Сколько надо, столько и буду.

– Спасибо, сынок...

– Я покурю? А ты, может, поешь. Разогреть?

Мама шевельнула рукой: не надо, не до еды.

Свирин приоткрыл дверь в сени, услышал за спиной.

– Шапку-то!..

Обычно хмыкал, говорил, что все нормально. Но сейчас послушно снял с полки над вешалкой свою меховую кепку-жокейку. Вышел.

Закурить получилось не сразу – руки дрожали. Хотелось думать, что от холода. И изба не прогрелась, а здесь, в сенях, вообще колотун. Зима, почти зима.

На двор выходить не стал. Стряхивал пепел в большую стеклянную пепельницу. Отец ею пользовался, и сейчас в ней лежала пара старых, посеревших бычков. Наверняка последние несколько дней не выходил. Или курил у печки, или вообще... Фельдшерница ведь сказала, что они не первый день в таком состоянии. Не первый...

Вспомнилось, хотя вспоминать ничего не хотелось, – отец сидит под навесом и выпрямляет гвозди на чурочке. Года два назад. Или три. Участок забора тогда в огороде упал.

Бывая у родителей летом, Свирин и не замечал его, этот участок – он успевал уже зарости с обеих сторон крапивой выше человеческого роста. Не видел, ну и не проверял, как он там. А тут приехал в конце апреля. И правильно, что приехал, вовремя, – забор повалился. Нужно было срочно ставить новый. Тем более рядом бродили коровы – в стадо их

еще не собирали, поэтому искали молодую травку на улицах, в проулках, могли и в огород зайти.

Столбики были, доски тоже кое-какие подобрал, а вот гвоздей не оказалось. Новых, прямых. Зато в дырявых кастрюлях хранились разные ржавые, гнутые. Пока Свирин вкапывал столбики, подбирал сляги, пилил по размеру доски, отец занимался гвоздями.

И в очередной раз проходя мимо, Свирин вспомнил отцовский рассказ о его первом воспоминании: «Не знаю, сколько мне было. Года четыре. Дом строили. И меня посадили гвозди прямить. Вот это первое, что осталось: сiju и постукиваю молотком, стараюсь по пальцам себе не попасть, а гвоздь выворачивается, не дается. И я чуть не плачу, ведь батя гвоздей ждет».

Спустя семь десятилетий отец так же сидел перед чурочкой – слабый, ссохшийся – и пытался справиться в выгнутом дугой гвоздем.

Свирин подошел и сжал ладонями худые костлявые плечи... Тогда ему было очень, до слез, жалко отца, а теперь хотел, чтобы следующей весной он был таким же. А не как сейчас...

Замерз, но возвращаться в избу не спешил. Что там делать, как пережить эти десять, пятнадцать минут до приезда скорой... А если она не придет? Если мама упадет со стула? Потеряет сознание? Как ему быть? Что в таких случаях делать?

Затушил окурочку тщательно, буквально растер. Оранжевая бумажка фильтра порвалась, под ней оказался цилиндрок из волокна, напоминающего войлок... Захотелось посмотреть в интернете, из чего делаются сигаретные фильтры.

В последнее время Свирин часто задавался такими вроде бы детскими вопросами и искал ответы в «Википедии». Да, чем старше становился, тем любопытнее. И по маме он это замечал – всем так живо интересовалась, расспрашивала, разговоры по телефону становились бесконечными.

Весной наконец-то купили смартфон – до этого родители все отмахивались, дескать, не разберутся – и мама подолгу читала новости, статьи, смотрела разные ролики, каналы. Отец давно стал равнодушным, безучастным, а мама наоборот.

Сейчас Свирину и хотелось рассказать о чем-нибудь, расспросить маму – отвлечь от болезни, от ожидания скорой, и в то же время чувствовал, что не надо, что может сделать только хуже. Последние силы уйдут у нее на слух, на ответы...

Снова сидели за столом друг перед другом. Отец лежал рядом. На серванте тикал, тикал вроде и тихо, но оглушая Свирина, будильник.

Мама кренилась вбок. Выпрямлялась. Веки на- ползали на глаза, голова начинала опускаться...

– Может, приляжешь?

– Нет... Так...

На какое-то время – сложно было сказать, на какое, – собиралась, смотрела на Свирина, в окно, оглядывала кухню, задерживалась взглядом на отце, а потом снова кренилась, веки тяжелели, го- лова висла.

– Мама, попьешь?

Дотрагивалась до кружки и клала руку на кле- енку.

– Помочь?

– Не... не надо.

Свирин заиграл экранчик смартфона, смотрел время, потом оглядывался, сверял с будильником, с часами на руке. Пять минут тянулись как час, де- сять, казалось, как день. В ушах звенело то ли от тишины, то ли от напряжения.

Но слух его, видимо, обострился до звериного – Чича еще не залаяла, только забеспокоилась, а он уже выходил в сени. Глянул в прогалину между ба- ней и летней кухней на улицу. Да, по колдобинам, переваливаясь с колеса на колесо, полз желтый, с красными полосами микроавтобус... Свирин не сразу понял, что это скорая, – «что здесь газовая аварийка делает?» Заметил крест на капоте – «ре- анимация».

Метнулся обратно, будто им всем нужно теперь торопиться, выходить навстречу с вещами.

– Едут!

– Ох... Господи... господаи...

Мама как-то по привычке, что ли, хотела засуетиться, как делала всегда, когда подъезжали гости, и тут же стала падать, слабо цепляясь за стол. Сви- рин успел удержать.

– Сиди, пожалуйста. Пусть они сами... Пойду встречу.

Загнал собаку в будку, привалив вход осколком лопнувшей печной плиты. Распахнул калитку. Мах- нул водителю, явно ищущему нужный дом, – сюда!

Вид людей в защитных костюмах с капюшонами, в очках, респираторах, перчатках, сапогах-бахи- лах за эти почти два года пандемии стал обыден- ным. Их каждый день показывали по телевизору, и не в фантастических фильмах, а в новостях, да и на улицах Екатеринбурга, в торговых центрах Свирин их довольно часто встречал. Здесь же, в глухой деревушке, на фоне соседских избышек, заборов, соснового бора такой наряд выглядел по-настоящему жутко.

Тем более что приехали они не к кому-то друго- му, а к ним, и вот такими инопланетянами заберут

маму, отца... Пусть. Но только б забрали... Капельни- цы, врачи, анализы, утки. Сейчас, пишут, в корона- вирусных госпиталях хороший уход...

– Куда? Провожайте, – вместо ответа на привет- ствие, не то чтобы сердито, но очень по-делово- му, глухо из-под респиратора спросил человек в этом защитном комбинезоне; Свирин только по голосу определил, что это женщина, и потом уже, приглядевшись, по глазам – большим, красивым.

Чича зашла было в лае, ударила в плиту и пе- решла на скулеж. Наверное, испугалась.

– Проходите, – открыл Свирин дверь в сени, огля- нулся к калитке.

Второй человек что-то делал в салоне скорой. Свирин растерялся, не зная, ждать его или идти за женщиной, объяснять, помогать. Выбрал идти.

Дальше время для него стало двигаться рывками. То замирало, и Свирин тоже замирал посреди кухни или комнаты, теряя слух, зрение, то начинало ска- кать, колотя молотками-секундами. Как взбесив- шиеся часы в фильмах ужасов.

Эти замирания и рывки определялись врачами. Вот они то ли слушают легкие мамы, то ли давле- ния измеряют – Свирин смотрит в сторону, на полки с книгами или в окно, он и сам сейчас не понимает. Тишина. Потом шуршание комбинезонов, реплики, смысл которых Свирин не в силах понять, разо- брать – в ушах гудит.

– Паспорт... – голос мамы, – дай им.

– СНИЛС, полис страховой еще, – добавляет голос женщины.

И секунды начинают молотить. И Свирин мечет- ся по избе, не помня, где лежат документы. Ведь клал же на видное место... Находит, подает женщине. С удивлением, но будто во сне, наблюдает, как она руками в толстых перчатках открывает паспорт, что-то записывает в большой книге, которую назы- вают амбарной. Как она терпит в этой защите?.. Так ведь жарко. Жарко ужасно...

И снова время останавливается. Женщина пишет, мужчина что-то молча делает с мамой. Свирин сто- ит столбом и смотрит куда-то.

– Так, раздевайтесь, – голос мужчины.

Свирин вздрагивает, словно требуют от него.

– Что? – голос мамы.

– Кардиограмму надо снять.

– Отвезите... меня... в больницу.

– Без этого нельзя.

Свирин выдавливает:

– Мама, помочь?

Часа полтора назад – или сколько прошло? – мама уберегла его от этого, может, и сейчас...

– Ох... да что ж... Ведь фельдшер сказала... срочно... срочная госпитализация.

– Мы не можем вас привезти в больницу без обследования. Вас просто не примут.

– Господи... ох... ой-йй...

Судя по звукам, сама раздевается. И время останавливается опять. Свирина смотрит куда-то. В ушах гудящая глухота, мозг обволакивает спасительное забытие.

Лишь крохотный неспящий участок мозга показывает Свирину его со стороны. Теперь не врачи, а он очень похож на инопланетянина. Но не в странном костюме, а в человеческом обличье. В каком-то фильме такие. Они принимают облик людей, но спать не умеют, а ночи проводят, стоя вот так, без движения, с открытыми неподвижными глазами. И ловят сон людей. Если поймают, превращают в таких же, как они. И единственная возможность для людей остаться людьми – не спать.

Но как хочется. Именно сейчас. Да, он человек, он никакой не инопланетянин... Уснуть, и чтобы это все как-нибудь... Само как-нибудь... Но – к лучшему... Или вообще сном оказалось...

– Так, дедушка, поднимаемся.

Оказывается, врачи на кухне, возле дивана. На столе – ярко-оранжевый ящик с распахнутыми створками. Какие-то ампулы, бинты, приборчики, бутылки, ножницы... Отец сидит, на левой руке эта штука для измерения давления, взгляд пустой, покорный.

Свирину снова хочется заплакать, как тогда, под навесом. И снова наползает прошлое. Совсем недавнее. Совсем-совсем.

Около трех месяцев назад. Прошлый приезд. Начало сентября.

Тогда они каждый вечер играли в домино. И до этого играли – Свирину посоветовали чем-то занимать родителей, чтобы деменция не развивалась. Кроссворды, головоломки, карты, шахматы, домино. Домино мама с отцом когда-то любили, и костяшки были в доме.

Сначала, правда, мама удивилась: «Да зачем время убивать на баловство?» Свирина объяснил, что отцу полезно. Что и ей полезно, не стал говорить. Хотя и ему самому не мешало шевелить мозгами.

Летом сил играть хватало нечасто, а в сентябре темнеет раньше, вечера длиннее. Играли долго, партий по семь, по десять вот за этим столом. И Свирина радовался, замечая, как оживляются родители, особенно было приятно наблюдать за отцом – равнодушный, потухший, он становился азартным, почти не путал костяшки, ставил правильно и ча-

сто выигрывал. Очки не записывали, побеждал тот, кто первым закончит. Призом служила или долька мандарина, или конфета, или кусок банана.

«Опять, Валерий Петрович, всех обскакали! – наигранно возмущалась мама. – Нам-то дадите выиграть?» – «Как, – отец разводил руками, – поддаваться, что ли?» – «Ну так и поддайтесь маленько». – «Не-ет, не буду. Мандаринки больно вкусные».

Такие хорошие были вечера. Может, и счастливые...

– Молодой человек, – голос врача, – помогайте.

Свирин вздрогнул, понял, что это его так назвали – молодым.

– Да-да, что? – пошел к дивану и мельком удивился, какой мягкий пол под ногами – прямо проминается. Как по перине идет.

– Майку надо снять.

– Давай, отец, снимем. Приподними руки... так...

Отец слабо, но слушался.

– Ложитесь, дедушка.

Лег. Врач стал прилеплять присоски. Они отлеплились. Отец был очень худой. И ведь ел нормально, по крайней мере, когда Свирина бывал здесь. Но худел и худел. Может, сознание требовало напитывать тело белками, витаминами, жирами, а организм уже не принимал – готовил...

– Так, вот эту и эту держите. Прижмите крепче.

Свирин надавил присосками на отцовские ребра. Отец застонал.

– Не так сильно, молодой человек. Марина, включай.

Загудел, застрекотал аппаратик. Полезна из него полоса бумаги.

– М-да, – гулкий, в респиратор, вздох врача.

– Плохо, да? – спросил Свирина.

– Как мы их двоих повезем? – вместо ответа ему обратился врач то ли к женщине, то ли к себе самому. – А вторая машина... Все на вызовах.

– Погрузите... в одну. Вместе нас...

Мама уже была здесь. Стояла, держалась за спинку стула.

– Да как вместе? Одна кушетка.

– Я сидя... У вас там сиденья... есть.

Снова гулкий вздох. Долгая, показалось Свирину, пауза. Переступил с ноги на ногу. Пол снова был мягкий, втягивал в себя и двигался. На всякий случай Свирина ухватился за спинку другого стула. Подумал: «Если что – не удержусь».

– Что, в больницу? – приоткрыл глаза отец.

– Надо, – неуверенный ответ врача. – Давление совсем слабое, и остальное.

– Везите нас скорее... пожалуйста! – последним усилием воскликнула мама; качнулась, врач поймал ее за плечо:

– Да. Сейчас... Марина, собирайся, я за Геннадием. Врач вышел. Свирина хотел было усадить маму, она отказалась:

– Не встану... Дай вон куртку, шаль... Сапоги... хоть бы налезли. – И снова, как тогда, перед несостоявшимся завтраком, молодо, звонко позвала: – Валерий Петрович, вставай! Поехали лечиться. Он послушался.

Свирина бегал по кухне от вешалки и полки с обувью к дивану, к стоявшей у обеденного стола маме. В комнату за какими-то вещами. Натягивал на отца теплые штаны, носки, помогал одеваться маме. Клал что-то в сумку, кивал, отвечал, не слыша, что отвечает. В ушах гудело, пол выдергивало из-под ног.

Вернулся врач с водителем и мягкими носилками.

– Так, ложитесь.

Мама попяtilась:

– Я сама... сама выйду. Его, – кивнула на отца, – надо.

Свирина и водитель взяли отца под руки. Водитель, приблизительно ровесник Свирина, тоже с брюшком, тоже лысоватый, приговаривал ласковым голосом:

– Вот сюда, так, осторожненько... Головой к дверям. Хорошо-о...

Понесли. Было нетяжело.

Свирина боялся, что где-нибудь зацепятся, не войду в дверной проем, но стоило потянуть ручки друг к другу, и носилки становились уже, отец почти утопал в них.

Спустили с крыльца. Чича залаяла. Лай быстро перешел в подвывание.

– Фу! – крикнул Свирина. – Перестань!

И в калитку вписались хорошо. Вот и машина.

– Так, опускаем.

Опустили на землю, на сухие травинки, рыжеватые березовые листья. Отец смотрел в небо. Потом заметил Свирина, потянул углы губ вверх, пытаясь улыбнуться. Свирина тоже попытался улыбнуться, а может, и улыбнулся, кивнул, подбадривая.

Водитель стал раскрывать задние дверцы машины. Лязгало, шелкало. Свирина глянул направо, налево. Улица была пуста, тиха. Только Чича скулила в будке. Вот снова залаяла, но не зло, а как-то жалобно, с обидой. Скорее всего, маму выводили из дома.

На улице серый сумрак. Свирина показалось, что уже вечер. Глянул на часы. Нет, всего-то семь минут первого. Но теперь так до февраля, и даже в ясные

дни солнце будет проползать по самому краю неба, то и дело скрываясь за огибающими село холмами.

– Поднимаем, – сказал водитель, – и аккуратно вот в эти пазы.

Подняли, вставили. Взгляд Свирина уперся в подошвы отцовских ботинок. Вернее, полусапог. Теплых, кожаных, на молнии. Новых. Летом подарили со старшей дочкой ему на день рождения. Дочку уговорил приехать. Хоть навестила их перед этим... И как удар током: а ведь, наверное, дарить обувь – плохая примета. Как же он не посмотрел, не проверил. Вслед за ударом нахлынуло, обдало как кислотой: он виноват.

Глупости. Не связано это. Тапочки нельзя, а ботинки... Родители почти не покупают одежду, донашивают, и у отца те зимние ботинки были все облупившиеся, в трещинах. Свирина предлагал и слышал в ответ: «Да зачем? Куда мне в новых? Нормальные...»

Вот и мама. Ее держат врач и врачиха. Или кто она, фельдшер, медсестра?.. Какая разница...

И с какой стати такие вопросы приходят сейчас? Сейчас другое важно. Другое. У самого, что ли, слабоумие, или с ума сходит?.. Да нет, это самозащита. Отвлекает мозг на другое, чтобы действительно не свихнуться, не рухнуть в истерике, сознание не потерять.

– Ну, сынок... давай тут... как-нибудь, – сказала мама.

Свирина дернул головой, как смог обнял ее. Врачи мешали обнять по-настоящему – стояли к ней плотно.

– Да... это... там в серванте... горячее. Выпей за нас... вечером.

– Да. Держитесь, пожалуйста. Поправляйтесь.

Мама слабо, как и отец только что, потянула губы:

– Будем стараться, сынок. Будем... стараться.

Ее подвели к машине, к двери сбоку. Женщина запрыгнула в салон, мужчина подал ей сумку с вещами. Женщина положила их куда-то, протянула руки к маме.

– Поднимаемся.

Мужчина приподнял маму, и вдвоем они усадили ее в кресло, пристегнули ремнями.

– А! – вспомнил Свирина. – Минуту.

Мужчина оглянулся на него.

– Как мне узнать, в какой больнице? Каком отделении?

– Если ковид подтвердится, то в госпиталь... Вашему фельдшеру сообщат.

– Ясно... Мама, отец, – Свирина сунулся в салон, – поправляйтесь! Жду вас! Очень!

Они ответили что-то, но слов он не разобрал. Женщина надевала на маму прозрачную маску с трубочкой. Видимо, кислородную. Мужчина потянул дверь, и Свирина убрал голову. Отступил на шаг.

Машина тихо, будто и мотор не работал, тронулась.

Медленно, качаясь, как лодка, завернула за угол забора и исчезла.

Свирин вошел во двор, закрыл калитку. Ключа в замке не было. Посмотрел на стену избы – там гвоздь, на котором они обычно висели. Да, там. Подошел, снял. Вернулся к калитке, запер ее.

Выпустил Чичу.

– Вот остались мы с тобой одни. – И добавил поспешно: – Пока. Будем домовничать.

Хотел погладить, но Чича оскалилась и зарычала. Так она делала, если смотрели на нее, когда ест. – Сдурела? – Свирина отошел. – Я виноват, что ли?

Чича прикрыла пасть, завилыла хвостом, но глаза были злые. Или не злые, а...

– Ну тебя.

Свирин набрал охапку дров, пошел в дом.

Долго курил возле печки. Не думал сейчас ни о чем. Отдыхал, что ли. Привыкал к новому своему положению, к этой, хм, новой реальности, о которой много говорят в последнее время. К одиночеству. К ожиданию.

Полешки лежали на почти погасших углях, тихо шипели. Нагревались. Угли становились ярче. Вот один из них, будто собравшись с силами, выпустил синеватый огонек, лизнул лохмотья бересты, и полешко вспыхнуло. Следом соседнее... Свирина бросил в топку оплавленный фильтр, прикрыл дверцу.

Прошел по кухне. Постоял у окна. Все те же небурные стебли цветов, за ними прямоугольники вскопанных грядок. Береза, замерзший пруд, избытки, сараи, заборы. Бугры холмов. Низкое небо цвета сухого цемента. Может, снег пойдет. Нужен снег. Не так тоскливо, когда снег. Сейчас самые трудные дни – зимний бесснежный холод. Их нужно пережить, эти дни. И декабрь с январем. В феврале станет повеселее.

Встряхнулся, фыркнул – не будет он здесь до февраля. Нужно в город, дела там, друзья, женщины. Две-три недели...

Да, хорошо бы. Две-три недели выдержит. Может, это даже полезно. Будет снег грести... А еще? Что делать еще?..

Мучительно стал искать, придумывать для себя занятия, но ничего не нашлось, не придумалось, кроме этого: ждать. Он будет ждать родителей. Или поправившихся, или...

– Так, – остановил себя. – Так-так-так.

Открыл отделение серванта. То, которое называется баром. Справа. Там стояли бутылки. Почти все пустые, наверное, про запас, на всякий случай – в деревне и пустые бутылки до сих пор ценились, – а в одной была чесночная настойка, в другой, видимо, то самое горючее, о котором сказала мама.

Свирин открутил крышку. Да, самогонка. Родители иногда покупали тут у знакомых. Неплохая.

Достал из холодильника банку с груздями. Собранными им в сентябре. В прошлые годы грузди попадались в основном сухие, которые, как выяснил Свирина благодаря «Википедии», к груздям и отношения не имеют, а в этом высыпало много настоящих. Их здесь называют правскими. Наверное, в смысле – правильные, настоящие. Правские грузди. И вкуснее они намного этих сухих, да и рыжиков тоже. Самые вкусные грибы для Свирина.

До переезда сюда он, кажется, и не ел грибов. Или не замечал. Может, мама и готовила шампиньоны, что-нибудь консервированное покупала. Хотя из овощных и фруктовых консервов он помнил зеленый горошек, персики, ананасы. Было ли в советское время еще что-то?.. Да, салаты в банках – с запахом рвоты... Но, в общем-то, подростком он и не замечал, что ест. Любил вареную колбасу с зеленым чаем с молоком, а остальное так – чтобы живот набить.

Грибы стали очень важны после их переезда сюда. Надо было чем-то питаться. Деньги тогда стали редкостью. Вот и ходили в бор, резали грибы, рвали ягоду. Грибы показывали местным, те определяли, какие съедобные, а какие нет. Почти все советовали выбрасывать – «негодное».

Потом, когда Свирины купили «Грибную энциклопедию», оказалось, что многие из якобы негодных были вполне съедобными. Даже заподозрили местных в корысти – чтоб они меньше собирали и им больше доставалось, – но потом заметили, что люди здесь берут лишь несколько видов грибов, а сыроежки, опята, валуи, моховики, зеленушки, даже шампиньоны оставляют. Что ж, так, видимо, повелось, ну и Свирины тоже традицию эту поддержали. Тем более когда попало несколько очень горьких сыроежек...

А грузди в банке почти нетронуты, наверное, родители их разок-то и попробовали. Верхние успели немного потемнеть, а ниже, в рассоле, молочно-белые, с бахромой – от одного вида слюна набегают. Есть и желтоватые – это сухие, – но их мало.

Свирин нацеплял вилкой несколько штук, положил на тарелку. Поискал в холодильнике сметану.

Сметана была, но старая, загустевшая до состояния масла... Ладно, без сметаны. Так даже лучше – вкус грибов чище.

Слегка разогрел курицу, рис. Налил самогонки в хрустальную рюмочку на ножке. Предпоследняя уцелевшая из сервиза, который купили еще там, в его детстве.

Посидел, держа рюмку в правой руке. Настроиться мешало тиканье будильника. Свирин хотел было вынуть батарейку, но спохватился – останавливать часы – примета куда хуже обуви в подарок. Отнес будильник в дальнюю комнату.

Снова сел, взял рюмку... Досадовал, что не сказал родителям напоследок важных слов, лишь эти штампы: поправляйтесь, жду... Но что надо было сказать?.. Жалел, что не расспросил их о том, как их семьи оказались в Узбекистане. Откуда предки отца, эта красивая, очень русская, кажется, фамилия – Свирины... У него две дочери, вот выйдут замуж и фамилии сменят, а если не сменят, то дети будут носить фамилии отцов. И, получается, он, Игорь Валерьевич, последний по их линии Свирин. Вряд ли на шестом десятке с кем-то сойдется так, чтобы появилось потомство. Хм... Где-то есть Свирины, в том числе и родня, но давно не общаются. Даже и сообщить, если с родителями что, некому. Все по-настоящему родные лежат в Ташкенте на Домбрабаде...

– Ладно, – успокоил себя этим великим русским словом; чокнулся с бутылкой и выпил.



ОДНО ПРЕСТУПЛЕНИЕ



БОРИС ЛЕЙБОВ
Родился в 1983 году.
Онучил факультет социологии The University of Glasgow, Высшие курсы сценаристов и режиссеров (сценарная мастер-

ская Олега Дормана и Людмилы Голубниной). Публиковался в журналах «Знамя», «Дружба народов», «Иерусалимский журнал», «Нрещатин». Живет в Москве и Тель-Авиве.

Поворот на город Шуйск Сажин проспал. В дороге он листал дело, интуитивно выбирая значимые показания и запоминая размер ущерба в численном выражении. Утомленный кражей, такой же скучной, как и город, в котором она произошла и в который его незаслуженно послали, он прильнул виском к стеклу, и мельтешение леса увлекло его в сон раньше, чем он успел вздохнуть о своем незавидном положении. Ему снился бассейн: двадцать пять метров на десять, с пятью душевыми кабинками и двумя парными. Он плыл по пустой дорожке и возмущался: «Как же не построили? Вот же он! Запах хлора. Вода». Колесо угодило в очередную яму, голова качнулась, Сажин вздрогнул, проснулся и потер переносицу. Бассейна не было, зато был Шуйск в конце проселочной дороги, изрытой, разбитой и местами затопленной.

– Останови, – сказал Сажин и вышел, как только машина встала у обочины.

Второй автомобиль, следовавший за Сажиным, поравнялся с ним и тоже замер. На следователя вопросительно смотрел помощник.

– Поезжай вперед, Паша. Устройся. Я скоро догоню.

Сажин махнул в сторону города, после чего заложил за спину руки, сгорбился и, похожий на шахматного коня, сам отправился по направлению к Шуйску.

Следователь ступал осторожным, мелким шагом, огибая лужицы, обходя грязь. Его водитель тихо ка-

тился следом на почтительном расстоянии. «Должно же быть объяснение тому унынию, что наводят глухие периферийные городки, – гадал Сажин. – Может, избыток пространства?»

Из-за дерева выглянула стела с медной рыбкой в наверхии. Сажин сощурился перед табличкой: «Знаменитый Рюминский Карась». Он горько улыбнулся, чем усугубил и без того глубокие борозды морщин на вислых щеках. Немало ему довелось переидать таких вот мест, с чепуховыми памятниками и одинаковыми преступлениями. Все на одно лицо эти единоутробные райцентры. В город всегда ведет рыхлая дорога. Она редко бывает прямой и петляет через просеки каких-нибудь гадких тополей. В просвете между этими деревьями-часовыми обязательно мелькает одно и то же поле, некогда хлебное, а ныне безработное. А в точке, где обрывается поле со ржавыми лопухами, начинается водоем. У каждого такого города есть выхолощенная набережная, протянутая вдоль поймы. Она покрыта брусчаткой, как протертые обои цветным ковром. Перед Сажиным встал указатель: «Озеро Рюминское». Белая стрелка направляла в сторону придорожного забора из борщевики, за которым не было видно ничего. За нижнюю раму знака уцепился поползень. Он висел головой вниз и вопросительно тянул шею в сторону Сажина. Следователь замер. Его беспокоило жгучее покалывание в правом боку,

которое отдавалось по всей брюшной полости, когда он ступал на левую ногу. Он прислушался к себе и подслушанным остался недоволен. Желтая рука, высвобожденная из перчатки зубами, потянулась к птице. Ему внезапно и остро захотелось почесать ее пушистое брюшко, все в нежных белых перьях.

– Лучше через поселок. Навигатор ведет. – Водитель вспугнул птичку, и Сажин посмотрел на него с нескрываемой ненавистью.

Тот растерялся, пожалел и отвел глаза. Сажин плюнул, еще немного для пущей неловкости побуровил несчастного и двинулся дальше.

– Прогулка – это для вас полезно. – Водитель катился рядом как привязанный и старался исправить свою безвыходную позицию. – Это вы молодец!

Сажин его не слушал. Ему ли было не знать, что похвала дурака обидней критики умного. Он смотрел на бревенчатый теремок охранника и гадал, насколько точно он знает наперед, что увидит внутри. А внутри должны быть круглые настенные часы с фотографией молодой Натальи Петровны, датированной ее первым сроком, календарик за позапрошлый год, иконки божьих матерей и лента с мертвыми мухами, приклеенная к наддверной подковке. Сажин вошел без стука. Обстановку он почти угадал. Недоставало липкой ленты.

– Вы к кому?

Охранник отложила вязанье, убрала за уши немытые волосы и встала, опираясь правой рукой о ручку кресла.левой она принялась тереть поясницу и посмотрела не на Сажина, а сквозь него, словно он пустое место.

– Вы к кому? – повторила она.

– Я Сажин. Дознаватель из Москвы. – И, убедившись в том, что его не слушают, попросил прямо и несколько громче: – Откройте, пожалуйста, ворота. Нам через поселок быстрее будет.

– Быстрее... быстрее... – Охранник заворчала и направилась к коробке с круглой зеленой кнопкой. – Занятые такие...

Домовладения прочих шуточных воров, сложенные в духе «горная европейская деревенька», стояли смущенные, потупив козырьки, в тени старшей своей сестры – дворца главы города Иды Игнатьевны. Сажин попросил проехать мимо имения на тихом ходу. Они катились, а здание все не заканчивалось. Дом подследственной был немногим скромнее Эрмитажа, но выполнен в индустриальном ключе, а попросту – из ворованного рыжего кирпича, используемого в социальном строительстве.

«И сколько во дворце бассейнов, школ и больниц?» – улыбался Сажин. Он рисовал в уме портрет Иды Игнатьевны и думал наперед, на какие болевые точки будет нажимать, чтобы размер взятки превысил дотацию на бассейн настолько, насколько он пострадал в этой поездке. Беспокойство желудка, головокружение, раздражительность и разочарование устройством страны в целом взвалются на покатые плечи Иды Игнатьевны. «Еще как свалятся», – решил Сажин и попросил доставить его в гостиницу поскорее.

Глава города представлялась ему дородной женщиной с окрашенной белой головой и густыми черными бровями. В его воображении она питает слабость к пережаренной пище, соевым ласкам и тому, что понимает как роскошь. Внутренности ее дома он за глаза охарактеризовал как пластмассовое рококо, свойственное многим его бывшим подследственным. Остальное он знал из бумаг: шестьдесят лет, трое сыновей, образование высшее, педагогическое. Но самое интересное в папке отсутствовало. Самое интересное обнаруживалось в отсутствии женщин-телохранителей. «А охранники под стенами – сплошное мужичье! Вот она, прибыль! – понимал Сажин. – Она старорегимница!» Он вернет в комитет не две трети, как водится, а все. Он вернет весь бассейн и вернет расположение, которое оградит его впредь от Шуйских, Рюминых, карасей и тому подобных. В пожилой голове следователя, пусть и со скрежетом, завращались шестеренки. Сперва малые, затем покрупнее, и вот уже проворачивались скрипучие лопасти. Работал стройный следственный механизм. Сажин просчитывал безошибочное попадание. Он выстраивал порядок нападающих глаголов, прицениваясь к тяжелым паузам, примеряя угрожающее выражение лица. Ни малейшего шанса на пат он ей не оставит. И когда фундамент атаки был возведен, он внезапно, но отчетливо понял, что занимает свое место не зря и никакого самозванства в его былых заслугах не было. Да, он – Сажин – замечательный следователь по особо важным делам. И да, Иды Игнатьевне недешево обойдется его унижение, эта командировка, это краткосрочное изгнание.

Водитель остановился у постоянного двора. «Бог ты мой», – вздохнул следователь и добавил еще немного к взятке, которую вознамерился получить. Гостиница была непритязательной до неприличия. Окна первого коренного этажа зарывались в землю, всем видом крича: «Мы старинные». Но были они просто старыми. «Как же там должно быть сыро». И Сажин втянул голову в плечи. Второй этаж был

деревянным, с гнильцой в непрокрашенных досках. Поверх, как скошенную набекрень кепку, нацепили мансарду, обшитую металлическим листом, некогда зеленым. Здание походило на хрестоматийный подберезовик из справочника, склизкий, с приставшей к шляпке травинкой. Над козырьком веселой дугой растянулось название из желтых объемных букв: «Рюминский дворик». «Бог ты мой», – второй раз подряд огорчился Сажин. Под вывеской на мысках покачивался Паша в сером кашемировом пальто и в соцветных лайковых перчатках. Секретарь держал лицо сочувствующее и понимающее. Он принял папку и портфель и повел Сажина в номер.

Все поверхности были застланы коврами. Все полы, каждая ступень, весь лестничный марш. Следователь и пошаркал бы, плетясь уставшим с дороги, но шаги были беззвучны. Пролет пестрил натюрмортами с карасем в окружении картофеля и пивных бокалов. Сажин уставился на Пашины каблук, на квадратные вмятины, оставляемые ими в красном ковровине.

– Паша. – Сажин остановился. – Давай лучше сразу пообедаем, а в номер пойдем, когда стемнеет.

Паша понимающе замигал.

Пока спускались в «Золотой карась», Сажин думал о жене. Вернее, обо всем своем мире, связанном с ней. Они и виделись вот только что, утром, но близость вечера и пустого номера размывали восприятие времени, и Сажин скучал по ней, как скучает моряк или узник. Он затосковал по их зеркальному дому в Колобовском переулке. По тому, как прохожие останавливаются и поправляют шапки, отряхивают воротники, глядя в его окна, и не подозревают о том, что он смотрит в ответ и в упор. Он загрустил по всему домашнему. По дурному соседу из управления, который пьяным разболтал, что молчит по-прежнему стоя, плевав на постановление. Ему захотелось в свой кабинет, в котором отродясь не работал, а только ночевал. Сажин вздохнул по черному постельному белью, по грубым бетонным стенам, по зеркальному окну. Но главное, по чему скучало его сердце, была дружочек. По ней он говорил больше всего. По тридцати прожитым годам. По ее близоруким привычкам. По ее рассеянности. По ее легкомысленным шалостям. По ее любви к белевской пастиле. По тому, как она приглашает его в спальню чаще, чем имеет право. Вот и вчера вызвала его. А ведь меньше десяти дней прошло с их положенной встречи. Сажин картинно помассировал виски и изобразил головную боль, крепко зажмурив глаза, чтобы Паша не заметил его навернувшихся старческих слез.

Они сели за стол с накрахмаленной скатертью. Паша взял меню, а Сажин махнул мальчику и попросил омлет.

– Вот в таких вот трактирах я, Паша, и заработал свои камни. – Сажин ткнул себя в ребра с правой стороны. Паша почтительно улыбался. – Дай угадаю, – не унимался Сажин, – холодец они обзовут галантином, а жидкий, как фантазия повара, бульон – консоме.

– Да! Есть и консоме, – подтвердил Паша и подумал: «До чего же желчный старик».

Сажин потрогал сухим, как веточка, пальцем омлет, поданный ему под блестящим колпаком, и отодвинул тарелку. Он снова вспомнил, как накануне милый дружочек жевала гребешка, окруженного игрушечным валом из осетровой икры, возведенным по кайме розетки. Как появлялись на ее щечках ямочки, когда сжимались челюсти. Как выдавались желваки... Он любовался ею, не замечая, как отправлял в рот ложку за ложкой баварский картофельный суп с шампанским.

– Кофе! – крикнул Сажин на весь зал.

Паша икнул от неожиданности и извинился.

– Кофе, – повторил Сажин, но уже сдержаннее, – такой же горький, как ваша жизнь, Ида Игнатьевна.

Следователь обращался к главе города, которая сидела за соседним столом и изучала ненавистного ей чиновника. Она встала, сама отодвинула стул и села напротив Сажина, по правую руку от Паши. Сажин оглядел ее и жестом попрощался с секретарем.

– Слушаю вас, дорогая Ида Игнатьевна.

Его домыслы оправдались. Она оказалась почти такой, как он ее себе представлял. Она не была полной сейчас, но была прежде, причем недавно, о чем свидетельствовала глубокая складка на шее, проходившая под урезанным подбородком. В остальном, в особенности в похотливом нраве, он был уверен, что прав. То, что ее день начался с собственного Паши, было Сажину ясно, как то, что кофе, который ему несли, окажется кислым. Она нервничала, хоть и старалась казаться спокойной. Тяжелые брови сходились и наваливались на испуганные, как у маленького зверька, глаза.

– Ида Игнатьевна, я бы хотел завтра ознакомиться со строительством социального объекта.

Глава города Шуйска молчала. Молчала и ждала.

– Детский бассейн, ведь верно? Вы же и заложили первый камень? У нас беда в аппарате. – Сажин всплеснул руками и закачал головой. – Просто кошмар. Ошибка на ошибке. Вот у меня, – Сажин потянул к себе папку, оставленную на столе Пашей, – бумаги, что деньги городу поступили

и что строительство, опередив плановый темп, завершилось. И одновременно противоречивые показания, что не сделано ничего... А помощь тем временем истрачена. Видимо, недоразумение.

Ида Игнатьевна была ровесницей Сажина, но он казался ей мерзким стариком, живущим по инерции, ей назло. Почему, думала она, почему из бесчисленных Шуйских этой бесконечной страны волчок выбрал ее? Мало ли молилась? Да вот хотя бы взять соседа. Видел бы проклятый Сажин, сколько тот наворовал! У самого дети в Канаде, а город – что Помпеи. А у нее? У нее и прирост населения, и безработица в пределах нормы, и сыновья – не то что не за границей, даже не в Москве. Все здесь! В администрации. Город чистенький... Иде Игнатьевне было обидно как никогда, и пеняла она исключительно на судьбу-злодейку и на злой русский рок. Она положила свою теплую руку на костлявую кисть Сажина, и дело замерло посередине стола. Она все еще не произнесла ни слова. Сажин подмигнул ей в своей государственной манере, ласковой и строгой одновременно. Следователь ценил в людях решительность и ум.

– Хорошо, – сказал он и отвел руку от папки. – Перед вами три задачи. Первая – построить детям бассейн. Точь-в-точь. – И он зачем-то постучал ногтем указательного пальца по блюдцу. – Вторая – вернуть всю! – Глаза Иды Игнатьевны выкатились, как у карпа, а рот распахнулся. – Вся! – повторил Сажин. – Вся сумму со мной в центр. А третья... Да не зевайте же вы так, Ида Игнатьевна! Третья – самая незначительная. Третья ваша задача – постараться достучаться до меня. Унять мою печаль, так сказать.

Он улыбнулся во весь рот, и Иде Игнатьевне, не оправившейся еще от потрясения, показался ящерицей с узким растянутым ртом. Ящерицей в сером костюме, с жидкими волосами, зачесанными на левую сторону.

– Мне у вас не нравится. И было бы хорошо проверить бассейн, помните первую задачу? Так вот, было бы хорошо, если бы приехал один только Паша. А то возьмусь сам, в следующий раз, и все одно что-нибудь еще найду. Непременно найду. Не сомневайтесь. Это ведь моя работа. На авось не пронесет, Ида Игнатьевна.

– Договорились. Пришлите человека, – чуть слышно пробормотала глава.

– Тогда до завтра, хорошая моя. – И Сажин неозначенно погладил ее ладонь, что было бы преступлением куда более страшным, чем ее растрата, будь она женщиной честной.

Следователь поднялся, поклонился и вышел.

На ужин в номер доставили две чашки телячьего бульона и белого хлеба. Хлеб Сажину не угодил. Дружочек на его звонок не ответила, и он, загрустив, надумал покурить. Дома он давно отказал себе в этой привычке – и пахнет скверно, и вредно, и дружочек бранится. Он высунулся в окно, убедился, что деревянные створки не деревянные, а пластмассовые. Таким же был и резной фартук под окном. Паша ответил на вызов Сажина до первого гудка и, казалось, в ту же секунду вырос перед следователем с сигаретами. Он понимающе поднес спичку и вышел. В ночь работал он, секретарь. К утру должны были быть готовы цифры. Две цифры. И следовало перепроверить все поступившие платежи на расчетный счет города Шуйска.

Воздух был ледяным, и Сажин торопился курить. Гостиница стояла на площади, плохо освещенной, в центре которой был неработающий фонтан со скамейками и урнами по кругу. С другой стороны, напротив отеля, кренился набок заколоченный кинотеатр «Экран». «Имени Любви Орловой», – напряг зрение Сажин. Он шелкнул окурком и запер рамы. Следователь достал из чемодана пижаму, халат и шелковую маску для сна. Долго и бережно чистил зубы. Смазал лицо кремом, зачерпнутым из безымянной банки, поворачивал кулачками и лег спать поверх одеяла, предварительно покрыв его привезенной из дома простыней. Засыпая, он чувствовал, что как будто лежит на дне лодки и его несет, а голова идет кругом. За бортом бассейн, и в нем, как в ухе, кишат караси и карпы. Сажин заснул быстро, спал глубоко и был рад находиться во сне, а не в Шуйске.

Задолго до рассвета его разбудили. В дверь тихо постучали, затем провернули ключ и вошли.

– Яков Михайлович, – позвал женский голос.

Сажин присел, нащупал выключатель и со сна решил, что ему послышалось. Его не звали по отчеству уже больше десяти лет, и только, наверное, дружочек еще помнила, что он Михайлович. Перед кроватью на письменном столе стоял алебастровый бюст молодой еще Натальи Петровны. На плечах лежали гипсовые волосы, и маленькая божья коровка застыла на вычурной ключице.

– Ну надо же, – зевнул в кулак Сажин и собрался лечь обратно, как из темной прихожей в бледный свет ночника вышла женщина и повторила:

– Яков Михайлович. Простите. Я должна была вас увидеть.

– Как вы вошли? – спросил Сажин.

– Простите меня. Я работаю здесь, в гостинице. Яков Михайлович, вы не узнаете меня?

В напряженных обстоятельствах ум Сажина ускорялся по экспоненте. Это свойство не раз спасало ему жизнь и карьеру. Он узнал ее и даже успел разочароваться в судьбе, которая так грубо свела его с этой женщиной в шуйской гостинице, как положено только в цветистых рассказах. Ему живо представился бывший дом и старый быт, бесчисленные спальни, та сладкая эпоха женского послушания. Податливого дружочка он отправлял к своим родителям в Уездное на целое лето, сколько она ни капризничала. Дружочек была в положении, а семейный врач настаивал на воздухе, луговом ветерке и дарах грядки. Роскошь и широкую душу в те годы не прятали. Скорее наоборот. Положением и благосостоянием хвастали. У каждого сажинского соседа водилась прислуга, и помощник следователя завел себе кухарку, по наставлению все того же врача. У Сажина обнаружили первые признаки желчнокаменной болезни, и ужинать ему было предписано дома и строго до девяти. Будущая спальня дочери до осени стала людской, и поселилась в ней молодая южанка с грубой бронзовой кожей и выгоревшим пушком на руках. Сажин трусливо кружил, иногда отпуская шуточку-другую, а она отвечала на милом птичьем языке, на волжском наречии, с протяжным «о». От этих «о» и этого широкогоротого смеха Сажин трепетал и чувствовал колющее счастье в животе. Терпение кончилось к середине лета. Было липкое июльское утро. Солнце било во все окна. Он шел в кухню, еще очень молодой и выспавшийся, а она терла губкой плитку, пела вслух и не слышала его. Он вдруг остановился и замер, как замирает в траве большая кошка. На внутреннем сгибе ее колена появились ровные, будто размеченные циркулем синяки. Еще вчера их не было. Четыре. Сажин понял, что смотрел на след чужих пальцев, чужой мужской руки. И ноющая тяга положить свою руку на чужое повалила стыд и совесть на лопатки. Сажин настоящий, старый и осторожный, похолодел, только что вспомнив то безвольное, песье влечение. Он посмотрел из-под лба на посетителя и перемотал память до финальной сцены, до расставания.

Осень в тот год началась в середине августа. Они с Сажиним под руку вышли из универмага, она была в новом пальто, они гуляли, как ей казалось, бесцельно. Он обнимал ее за плечи и что-то неторопливо рассказывал, и ей, девочке, думалось, что прохожие видят в них влюбленных. А у вестибюля станции «Кропоткинская» он вдруг поцеловал ее в щеку, потрепал по-отечески за волосы и без какого бы то ни было стеснения вложил

в руку конверт. На будущий день возвращалась дружочек. Высшей точкой того романа, того последнего совместного дня, вспомнилось Сажину, была одинокая дорога домой. Девочку безвозвратно утащило в метро. Ее слез простыл след. Их унесло по красной ветке. Он шел в счастливый пустой дом в обход, через бульвар, намеренно растягивая удовольствие молчаливой прогулки. Он шел размашисто, не огибая лужи, с самодовольной улыбкой, захватившей его остроносое лицо. Эта малая гадость, которую он только что в себе обнаружил, рвалась из него смехом. Больше таким бессовестным и легким он не чувствовал себя никогда.

– Вы правда не узнаете меня, Яков Михайлович?

Я не поверила себе, когда услышала ваш голос.

Вы крикнули: «Кофе», – и я остолбенела. Это же не просто так, что прислали именно вас.

Один только звук собственного отчества заставил Сажина изображать недоумение хлеще любого из его когда-либо допрошенных подследственных. Домогательство! Домработница! Адюльтер! Все статьи, по которым он сам так рьяно карал мужичье. Этих людоедов. Этих врагов Натальи Петровны. Этих подлых ретроградов. Цепных псов патриархата. Прихвостней похоти. Он смотрел во все глаза на свою бывшую прислугу и видел только часть вторую, пункт третий, и положение об обезоруживании агрессивного пола. И списки... Длинные, как свитки, списки, подписанные им самим.

– Меня и правда так звали, – ласково выговорил Сажин, – но откуда вам известно?

Он был настолько убедителен, что ночная гостья замешкалась и, списав его забывчивость на возраст и занятость, перешла к главному. К тому, чего так от нее хотел Сажин.

– Это я. Я писала в Москву. В прокуратуру, в Кремль, лично Наталье Петровне... Наша Ида, она только делает вид, что служит женскому роду. Вы понимаете? Я вам больше скажу, у меня есть свидетель. Она работает в ее доме. Мужчины ходят к ней в спальню ежедневно! И это они ее зовут. Сами! Понимаете вы?

Она взяла паузу – удостовериться, что следователь поражен, – и осталась довольна. Сажин учтиво пригласил ее сесть, а сам с заложенными за спину руками принялся ходить по комнате. Морщины, собравшиеся на лбу, и поднятые брови свидетельствовали об изумлении, а ритмичное кивание – о сочувствии.

– Я займусь. Я обязательно займусь. Раз такое дело...

Следователь бормотал достаточно громко, чтобы быть услышанным.

– Я бы никогда не донесла на вас, – выпалила она, и Сажин замер, повернутый к ней сгорбленной спиной.

– Вы хоть и обижали меня, но детей вы бы не обокрали. Вы не плохой. Я знаю. Знаю, что любите родину. Хоть и ошибались.

Сажин развернулся, не окончив путь до окна, и с середины комнаты в два исполинских шага очутился перед лицом свидетеля. Несколько страшных мгновений она была в замешательстве от его неожиданной близости.

– Люблю, – искренне прошептал он, – люблю. Вы только успокойтесь.

Он взял со стола бумагу, ручку и звучно поцеловал плечо бюста.

– Запишите! Запишите, пожалуйста, все. Это знак. Знак, что мы встретились, спустя целую жизнь.

Свидетель писала, ни на что не отвлекаясь, до первого света. А Сажин снова ходил, неожиданно часто курил и все лепетал о раскаянье, о знаках и неисповедимости.

Ночь принесла в Шуйск первые заморозки, что обнаружилось только днем. Сажин стоял под указателем «0. Рюминское» в то же самое время, что и вчера. Он то стучал мыском по замерзшей луже, то пружинил на посеребренной траве. Борщевик, до недавнего времени сгорбленный и бесцветный, стоял теперь гордым царевичем и своим телом, покрытым изморосью, отражал солнце во все стороны. Водитель крошил гостиничный хлеб для вчерашнего поползня. «Вдруг вернется», – надеялся Сажин.

Оледенелый грунт сообщил о второй машине издалека. «Как хорошо затихает мир в мороз», – думал следователь. Бок не болел. Голова не кружилась. Сажин чувствовал себя неожиданно неплохо после беспокойной ночи. Паша опустил окно и поднял сначала портфель. По напряженной шее секретаря и по тому, как дрожит его кисть, Сажин понял – тяжелый, и одобрительно кивнул. Секретарь опустил чемодан и поднял папку с делом. Из-под черной кожи проступала прямоугольная грыжа. Сажин еще раз кивнул, но сдержаннее, как англичанин.

– Передал? – спросил уполномоченный.

– Передал, – ответил Паша.

– И про прислугу в доме?

– И про прислугу.

– Когда вернешься с проверкой, Паша... Ну, скажем, в декабре, первым делом проверишь, что их нет. Ни той, ни этой. Проверишь стройку. И...

– И кладбище, – закончил за руководителем Паша.

Сажин помолчал и махнул рукой в сторону Москвы. Проводив машину взглядом, он извлек из кармана показания и поджег их. Он курил свою последнюю сигарету, так он себе пообещал только что, пока грехи Иды Игнатьевны прогорали в прах. Затем он расположился на заднем сиденье, откинул голову, прикрыл глаза и решил не думать в дороге ни о чем плохом, только о дружочке.



ПО ПЯТНИЦАМ ТАНЦУЕМ



ВАЛЕРИЯ ФРОЛОВА
Студентка 4-го курса
Литературного института
(мастерская М.М. Попова).
Публиновалась в журнале
«Москва».

Я хочу в открытое квадратом ровное поле. Хочу обнять его руками, увести в раз-два-три, шелкнуть пальцем по желтому носику каждого его цветка. Спрыгнуть в грязную траву, выбежав из-под неба. Я хочу поцеловать природу. Я хочу, чтобы она ответила на мой поцелуй и я задохнулась ветром – губы ветра сухие.

Но где-то появился только что муравей. И лишь лягу я на траву, он кинется на меня и закопает в земле. Я знаю, он закопает меня в земле, – так, что я не смогу встать. Он кинет крошку чернозема мне на круглую спину. Сам он кругленький тоже, хороший. Но он появился, и он закопает меня в земле.

Но неважно.

Пока он закапывает, я расскажу.

В марте я купила бусы. Март месяц дикий. Мама говорила, что в марте выползают медведи. Сосушие лапы медведи, выползающие из февраля в хищный воздух весны, снились мне каждую зиму, чем больше я о них думала. Кто их пригласил в наш мир? Те же серые люди, что пригласили меня, нас. Приходящие ночью серые люди. Медведи засыпают на зиму, чтобы их не видеть, и серые люди, теряя лица, становятся стенами берлог. А весна разрушает берлоги, разрушает зиму. И так каждый год, получается, каждый год.

Я жила с медведицей, которая не заснула. Она ходила важная, но шерсть ее поседела. Трудно быть

важной, когда ты старая и грустная. Всегда становишься немножечко смешной. Но ладно.

Бусы я купила в «Танцевальном кружке». Это такой центр арт-терапии у нас в районе, где рисуют, учатся лубку, лепят горшки или просто пластилином руки мажут. Вот открыли бисероплетение. Бесплатно можно прийти, если оставишь то, что сделал, и позволишь это выставить и продать. Мамина подруга там сплела бусы, не стала забирать, но сказала, что это мне точно. Я пришла, посмотрела. Я тогда в первый раз в «Танцевальный кружок» пришла. Ну, бусы как бусы, это все равно. Был понедельник. За стеклом на первом этаже танцевала моя мама. Серая-серая. Мне она очень понравилась. Я захотела себе такую ее.

Моя медведица в тот день варила щи. С нами обедал Андрей. Теперь он часто к нам заходил. Медведица шутила, что она по призванию одинока, и Андрею, одинокому по принуждению, полезно, конечно, стало у нее учиться. Я замечала, как прямо над тарелкой порой он закрывал глаза и задерживал дыхание. Так он пытался понять, как умерла его уставшая от кислорода жена. Я видела ее мертвое лицо. Я много видела уже таких лиц, пресытившихся, пьяных воздухом, синих и под масками. Мы все, кажется, стали носить такие лица.

Завтра я не пошла в школу, а пошла сразу туда. В «Кружке» было тихо и враждебно, слишком бело.

И я ничего не умела и не хотела. Я спросила, танцуют ли здесь, и мне сказали, что занятий таких нет, но что «Танцевальный кружок» – место терапевтическое, направленное на развитие всех свобод в человеке, развеивание всех тревог, поэтому здесь можно и танцевать, и плакать, и бить принесенное из дома, если потом уберешь. В общем, мне они ничем не помогли. Я не знала, что делать, и села перед бумагой с красками. Расплакалась акварелью, я ее слишком усердно разводила по листу водой, и лист порвался. Ничего художественнее этой бумажной дырки из меня не могло родиться. Я оставила ее на испачканном столе и ушла, когда не было и двух часов дня. Мне кажется, ее выкинули сразу после моего ухода. Я почти слышала, как замялась в комок бумага.

Медведица не заметила, что я рано вернулась, и волновалась дома о самолетах. В апреле мы должны были лететь к ее медведице-сестре в Сибирь, но теперь придется ехать трое суток поездом, потому что к самолетам доверия не осталось. И самолетов-то толком не осталось. Я спросила, что происходит в мире, и перестала слушать. Где-то сейчас танцевала мама, и мне хотелось только очень понять, когда существует это где-то.

Перед школой в среду мама подруга привезла нам свою дочь, чтобы медведица с ней посидела. Мы вышли вдвоем, плыл только седьмой час утра. Я стрельнула у маминой подруги вишневую сигарету. Мне никогда не нравилась вишня, всегда как из витаминок «Алфавит». Мамина подруга загадочно пялилась:

- Видела?
- ...
- ...
- ...Ты знаешь, а во сколько она приходит?
- Ой, ну сколько жас? Часов шесть? Обычно она вот так и приходит.
- Так рано?
- Ну а когда ей еще? Надо коробки разобрать, пока разложит все со вчера. Покурит разок. Схочячит чего-то. А там и смена.

Мы смотрели обе на какую-то торговку у местного продуктового, у нее падали, не поднимаясь, жалюзи на входной двери. Я только теперь ее увидела.

- Я про маму.
- А-а...
- И мы попрощались.
- Бусы-то забрала?

Это она крикнула уже и уехала. Она не видела. Ничего она не видела.

И я опять осталась одна. От серого неба болели и слезились глаза. Щурясь, я шла до школы, а в шко-

ле потом сказали нам больше не приходиться. Дома будем учиться. В «Кружке» в эту среду окна по-дуррачки горели зеленым светом. Мама не придет сегодня: она не любит зеленый.

Дома я уснула. Кругом пахло абрикосовым чаем. Медведица не понимала, почему я дома, и чужая девочка лазила по диванам длинными антилопными ногами. И мне снились сны.

Один сон кончался, и серые руки подхватывали меня, переносили в детскую кроватку, к другому сну, который кружился сначала пластмассовыми звездами и колокольчиками звенел, а потом утихал. В тишине мамы серые руки гладили меня по животу, я была толстая, маленькая, теплая, а руки мамы тонкие и холодные, потому что она прибежала с мороза, от которого успела отвыкнуть и в котором все мы жили тут. Мама меня любила. Мама меня звала. И сон кончался, звенел другой, плескалась речка и брызгало небо, все зеленело до тошноты, кругом оказывались другие, был какой-то июнь какого-то лета, что-то упало на меня, может, дерево или небо, и я проснулась. Чужая девочка свалилась со спинки дивана, смеялась кашлем. Я заставила ее есть помаду, пока медведица не видела. Я сказала, это полезно, так учат в школе тех, кто в старших классах. И мы промыли ей рот, чтобы не осталось красного, только зубы желтели еще розовым.

Вечером мама подруга ее забрала. Я ненавидела их семью. И ее мама была плохой мамой.

Мы с медведицей сегодня долго сидели на кухне, пили чай. Мы редко были вдвоем. Мы синхронно вздыхали в минуты тишины, и это пугало. Мы были похожи. А мама с фотографий улыбалась непохоже на нас, мы не умели так улыбаться. Мы улыбались, чтобы заткнуть несчастье. Мама улыбалась счастливо. Мама улыбалась молодо. Она была моложе нас, моложе меня. С рождения моложе меня.

В четверг я унесла ноутбук и ушла в «Кружок». Шоркающий голос, почти незнакомый, искаженный помехами и срывающийся в синтетический визг, диктовал что-то из пройденного, и под него я слепила кривую пепельницу, два кольца и тарелку с трещиной. Тарелку я потом спрятала под куртку, чтобы унести и подарить медведице. Если бы я знала, что моя медведица курит, я бы пепельницу спрятала, но я не знала, она мне не сказала. Я только видела фотографию, где она выдыхает, а за дымом стоит черное существо. Может, это мой медведь. Может, она выдумала свое одиночество. А может, правда, у нее не было никого, кроме меня и мамы. И кроме меня одной.

Пепельница была косой. Я раскрасила ее в зеленый, потому что не хотела, чтобы мама курила. Она бы никогда ее такой не взяла, даже если бы пришла сюда снова.

Два кольца – это как два обручальных кольца, которые медведица хранила в платяном темном шкафу в порванном капроновом чулке. Я представляла, как она отбирала эти кольца у мамы, у него, чтобы хранилось лучше, чтобы не потерялось. Но я не могла представить. Я думаю, она просто купила похожие. Никто не отдал бы ей эти кольца, их скорее выкинули бы, закопали в земле. Носили бы дальше. А медведица всех раздражала своей старостью, и своей суеверностью, и своей тягой к накопительству, и своей любовью к золоту. Мои кольца вышли похожими, но как если бы их кольца были из печенья, и если бы вместо алмазов в их кольцах был бы изюм. И если бы руки их были гигантские, толстые.

А тарелка была с трещиной, и я сделала ее желтой, поджаренной, как будто хлебная лепешка треснула и распеклась мучным запахом. И я унесла ее медведице. И ей понравился запах глины. И мамы сегодня нигде не было, один Андрей и мама подруга под столом нашим переплетались по-детски ногами, а медведица вылавливала дочке маминой подруги побольше фрикаделек и поменьше лука в тарелку. Девочка не любила лук. Вчера Андрей забрал белье из больницы, где умерла его жена. Потеряли, забыли отдать. Нашли, позвонили. Он принес медведице, попросил выстирать и пусть я ношу, и на батарее у нас ради приличия сушились мамины синие стринги. Никто их никогда не наденет.

Я что-то слышала. Мы ехали в темноте с Андреем, по радио болтали, плодородная земля, карты, выпущенные российскими банками, провокация, переночуешь сегодня у меня.

– Слышишь?

Я что-то слышала.

Комната была как в детстве. Кровать маленькая, торчат ноги и упираются в шкаф, шкаф покрыт лаком. Медведица сегодня кого-то поминала. Одна, устала со мной. Но всю ночь не поминают. Она выпьет, не опьянеет, выпьет, а такой перед внучкой нельзя, неприлично. И надо нам уехать, поставить прививки, видела, что с мамой, надо нам не выходить, вот куда поступать собралась, что, уедешь, бросишь семью, мы тебе денег посылать не будем, видела, как мама, все сама, а, филолог – назвали красиво, учительницей, что ли, книжки читать будешь, в школе мало получают, что эти буквы, надо физику знать, физика всему голова. Андрей-Андрей, покивала головой и уснула. Во сне руки болели, как растянутые.

Утром звонила медведица, девочку оставили, приходи попозже, мы пока играем, обед варим. Из ванной мама подруга выходит, прощается, Андрей, пока, привет, чего не в школе, а, ну пока. Едем вдвоем в лифте. Я прошу вишневую сигарету. Она прикуривает у подъезда и садится в машину, похожую на холодильник для трупов, и уезжает. Я украла у нее зажигалку.

Я иду, и я уже знаю: моя медведица не моя – и я ее отпускаю. Я никогда не варю с ней обед. Я знаю: Андрей никогда не был моим, моими были только розовые обои в комнате в их квартире, я сама выбрала розовые обои. И когда-то, когда я открывала по утрам глаза, передо мной была розовая, покрытая солнцем стена, моя розовая стена.

В «Кружке» тихо, я привыкла, здесь тихо всегда. Я запрусь в туалете и на полу покрывалом постелю свою куртку. И, больше ничего не снимая, я стану жечь себе пальцы, жечь себе вещи, жечь себе губы. Я услышу, кто-то кричит. Крик превратится в сирену, сирена – в музыку, под нее захочется двигать руками, и комната посереет, чтобы мама пришла. Она будет танцевать, серая-серая, возьмет мои руки в свои, и мы будем гладить дымный воздух вокруг, пока она не попросит меня повернуться набок, пока она не сведет мне ноги, согнув в коленках, пока она не вернет мою ладонь моей ладони и не заведет мои кисти мне под голову, и пока она не скажет мне, она говорит мне – спи.

Я рождаюсь криком в траве. Меня купает солнце. Я еще слышу, как она шепчет, она целует меня сухими губами и шепчет, как это правильно, как естественно – родиться в поле и умереть на земле. И чтобы трава сама расплела материнскую косу и волосами от крови обтерла.

Я только думаю: пусть муравей, когда все оставят меня, очень быстро закопает очень маленькое тело в земле. И я вздохом засну. И сразу за весной будет начинаться осень.



КАРЛ-МАРКС-ШТАДТ



ГАЛИНА НАЛИННИНА
Родилась и живет в Москве.
Окончила РГГУ. В настоящее
время редактор журнала
«Дегуста.ру», эксперт
редакционного совета
журнала «Новый Свет»
и обозреватель российских

академических журналов
на Pechorin.net.
Член жюри Международной
литературной премии
«ДИАС-2021» имени
Д. Валеева (Татарстан)
и V Международной премии
«Волга-Перисноп — 2021».

Лауреат международных
литературных конкурсов,
в том числе имени Бунина,
имени Натаева, «Русский
Гофман» и «Волошинский
сентябрь» («Критика»), номи-
нант премии имени Эрнеста
Хемингуэя (2021).

*Ты сегодня мне принес
Не букет из пышных роз,
Не тюльпаны и не лилии...
Из песенки*

Ныне Москва поблекшая, унылая и бесцветная. Слякотная. Торопливыми ботинками снег сбивается в масло и отсекается водою. До Рождества один день. Все ждут свежего снега, а его недели две как нет.

Нашу почту – одноэтажный домик послевоенной постройки – возводили, говорят, пленные немцы. Притулился домишко на окраине мира: приписаны мы к столице, а фактически находимся за городской чертой. Перед нами живая лава мегаполиса, за нами Лосиний остров пешком переходит в долгие леса – сперва Мытишинские, потом Посадские. И лоси тут вправду водятся.

Закрепленный за пятью точками водитель Паныч – на самом деле Ян Иваныч, из поляков, – видел три Рождества назад лосиху с лосенком. Заглядывали в окна под утро. Лосиха, может, и залегла бы в лежку, а этот херувимчик гнал ее за едой. Ох, и шуму они тогда наделали в нашем тупичке, прежде чем убралась восвояси.

Сегодня рабочий день, но мы словно отдыхаем. Посетителей нет. Все готовятся к Рождеству, и почтовый бум наконец-то схлынул. Он начался за три недели до Нового года и почти иссяк пару

дней назад. Хотя прилетают еще письма Деду Морозу, и таким припозднившимся – особое внимание от нас, почтарей. Сейчас у нас топится печь, дым из кирпичной трубы стелется вкось по крыше. Снаружи почта – словно пряничный домик, потому что два оператора – Луиза и Алексанна Алексевна – разукрасили ее мишурой, гирляндами, искусственными елками где-то в конце ноября. Луиза – старинный работник, она на этой почте начинала карьеру еще в девушках. Кажется, помнит тех самых пленных немцев. Луиза от почтальона дошла до начальницы. Но даже ее опыт не выдержал конкуренции с новейшими почтовыми технологиями. Луиза вынуждена была пойти на понижение, чтобы только не оставаться в одиночестве дома. Так сложилось: не завела ни мужа, ни дитя – жизнь без реверса. Алексанна Алексевна с нами чуть меньше трех лет, она самый молодой сотрудник коллектива, но самый подкованный: любую новую программу осваивает в два счета. И мы вместо радости печалимся грядущему ее окончанию института. Зачем дипломированному психологу работать на почте? Уйдет, ох, уйдет.

Меня занесло на службу в почтовое отделение одно веское семейное обстоятельство, а то бы ни за что. Я три с лишним года назад стала называться пенсионеркой по возрасту. Могла бы, казалось, выйти на заслуженный отдых после трудовой деятельности повышенной вредности – двадцать лет

отдала средней школе. Но единственная дочь посчитала, что мне станет скучно и некуда себя девать на пенсии, потому внезапно решила одарить меня внуком. Тут мои планы «поездить по миру» рухнули в одночасье. У дочери родились девочки-двойняшки, каждая по два пятьсот – вот и веское мое обстоятельство. Появление прекрасных внучек, которым теперь уже почти по три года, вынудило искать дополнительный доход. Так я оказалась в начальниках почтового отделения на самом краю мира; перед нами мигающий праздничным неоновым мегаполисом, позади – оснеженный Лосиный остров с дикими зверями.

Неподалеку пролегла ветка железной дороги. Когда запираешь на ночь почту, видишь под крышей одинокую звездочку сигнализации и слышишь над головой, в верхах, надсадный рев семафора, всхлипы поездов дальнего следования, не постижимым образом ощущаешь себя ближе к таинствам Рождества. Кажется, вертеп был вовсе не в южной стране, а где-то здесь, поблизости, в лесных сугробах Лосинки, в чащобе, куда под светом Верхней звезды сходились волхвы, люди и звери, лоси, кабаны, лисицы. Стонущие паровозные гудки сообщают расстояние не только между станцией и почтой, но и между миром, Временем и тобой.

Утром ощущение сказочности и волшебства наконец растворяется. Двухнедельной давности серое месиво расшвыривается торопливыми сапогами. Блекнет звезда сигнализации под крышей. Молчит остывшая за ночь кирпичная труба. С утра Паныч растапливает соляркой печь и отправляется на ржавом «каблучке» по маршруту, заезжает в центральное отделение и после «обмена почтой» развозит объем по точкам, к вечеру непременно возвращаясь к нам. Не то чтобы мы ему так симпатичны, а просто живет рядом. Помещение наше нагревается быстро, жар печи дразнит другие запахи. На почте, говорят, испокон веков так было: терпко в нос бил расплавленный сургуч, шекотал носоглотку столлярный клей, деликатно пахла плотная почтовая бумага. Сейчас их не то чтобы в помине не было, но сильно сократилось применение. И все же на почте живет особый почтовый дух, обостряющий грезы о путешествиях. То конверт с маркой Ботсваны, то бандероль из Сеула или Ухани, то посылка из Сванетии обостряют твой приключенческий азарт и разжигают тягу к странствиям.

Сейчас мы, трое почтарей, вяло ходим от окна к окну, придумывая себе занятия и ожидая Паныча с остатками новогодней корреспонденции из международного узла связи. Уже готовы салат «Оливье», «Мимоза», и охлаждается в авоське за карнизом

бутылка «Абрау Дюрсо». Луиза не хочет торопить события, одиночество дома – слишком мрачная перспектива под праздник. Алексанна Алексевна, напротив, не может дожидаться часа, когда мы запрем наш «пряничный домик» на железный засов с навесным замком и повесим объявление про три выходных. Я же с некоторым трепетом ожидаю приезда «каблучка». Мне под Рождество вот уже третий год подряд приходит письмо с открыткой и бандероль из Хемница. Обычно заранее, даже до Нового года. На этот раз открытка задержалась, и нынешний день – последняя возможность традиции устоять в пошатнувшемся мире.

Хемницкие весточки я получаю с тех пор, когда особый почтовый дух выразнил из моей памяти факт настолько давний и прочно забытый, что для его воскрешения понадобилось сойтись несколькими ощущениями разом. Сказочно-волшебная атмосфера предновогодней суеты, отсылающая ко дням детства, зимний почтовый аврал и вдобавок к авралу подзуживающее раздражение вдруг разбудили во мне неясное воспоминание. Раздражение вызывало мурлыканье одной незамысловатой мелодии под крючковатым носом Луизы.

Тогда, три года назад, мы еле-еле поднимали головы от вороха корреспонденции, от бумажной прорвы, валившей на нас с гораздо большей силой, чем снега над суетливо-деловитой зимней Москвою. Хор предпраздничных поздравлений разбавляли редкие претензии клиентов. Входная дверь то и дело стучала и лязгала засовом, выстужая тепло. Мысли о доводчике, о клейких лентах вместо бобин суровой нитки, о самоклеящихся конвертах вместо вовремя застывающего сургуча перебивала дурацкая мелодия Луизы. Я не понимала, отчего та мелодия мне досаждала. Сперва мы между делом перекидывались насмешливыми взглядами с Алексанной Алексевной, но потом она вынужденно вступила в спор с педантичным клиентом, которого я тут же пожалела: он не знал привычки хорошенькой почтовой феи учить уму-разуму зануд. И я осталась в своей досаде один на один с перевирающей ноты Луизой, пока все ж таки не решилась, невзирая на очередь и не видя поющего седого пучка, задать вопрос.

– Что это, Луиза?

В ответ из-за стеллажа показалось пол-лица в золотой оправе, будто Луиза надела пенсне.

– Да, босс?

– Что ты там вымучиваешь?

– Это же «Ландыши»... В годы моей молодости популярная песня была. Знаете?

– Твоей молодости я точно не знаю.
– А можно там побыстрее? Очередь собрали...
Из десятка терпеливых непременно найдется один не наученный уважать чужой труд.

– Перейдите ко мне!
Алексанна Алексевна, избавившись от зануды, принялась за выскочку-торопыжку.

– «Ландыши, ландыши – светлого мая привет...» Неужели вы не помните, босс?
– Вроде бы припоминаю.

Я знала ту песенку, но беспокойство не оставляло меня. И только когда Луиза произнесла следующее слово, только тогда все встало на свои места.
– Это же «Карл-Маркс-Штадт».

Да, я припомнила ту историю. Разные варианты: немецкий и русский. Да-да, слухи о спорных авторских правах. Но меня-то мучила иная подоплека. И вот теперь эта песенка всколыхнула факт, прочно запрятанный моей памятью.

В пресловутые *времена застоя* приветствовалась переписка между советской пионерией и школьниками разных стран. Мы, «немцы» пятого «Б», в отличие от «англичан» пятого «А», переписывались с детьми из ГДР. Я наизусть знала адрес: Wolgograder Allee, 8a, Karl-Marx-Stadt. Моей корреспонденткой была Berta Gauss.

«Hallo, mein Name ist Berta».
«In welcher Klasse lernst du?»
«Ich studiere in der fünften Klasse» .
«Ich wohne in Moskau».
«Und ich wohne in Karl-Marx-Stadt».

Даже когда школьная кампания прошла и учительница немецкого перестала просить нас приносить письма в класс, даже тогда мы продолжали дружить с Бертой.

«Только бы не было войны!»
«Nur wenn es keinen Krieg gäbe!»

Письма регулярно, раз в месяц, летели из Москвы в Карл-Маркс-Штадт и обратно. Переписывались мы несколько лет, пока, кажется, в восьмом, не сменились интересы и прежняя дружба не сошла на нет. Теперь даже не вспомнить, чье письмо осталось неответченным.

И вот три года назад, под Рождество, «Ландыши» Луизы всколыхнули во мне забытые, но приятные воспоминания. Вечером после смены я написала письмо по старому адресу: Frau B. Gauss, Wolgograder Allee, 8a, 09001-09247 Karl-Marx-Stadt, Deutschland.

Сперва мы бурно обсуждали этот факт, дойдет ли письмо или вернется недоставленным. Паныч ухмылялся в пилсудские усы и откровенно не верил,

Луиза сомневалась, а Алексанна Алексевна горела идеей больше моего. Потом мы забыли о той авантюре. Прошло месяца три, и в один прозрачный весенний день компания почтарей ждала меня из главка с оглушительной новостью – пришел ответ от фрау Берты.

Из письма я поняла, что теперь она не Берта Гаусс, а Берта Дейс. И живет не в Карл-Маркс-Штадте, а в Хемнице, никуда не переезжая. Просто ее городу возвращено историческое название. Наша переписка возобновилась, стала бойкой и регулярной. Берта аккуратно раз в месяц присылала мне фотографии с видами городского района Kasberg, где сохранились еще здания в стиле эпохи грюндерства. Она немножко хвасталась своим мужем Юргеном, бывшим управляющим машиностроительной фабрикой, а позже преподавателем в хемницком техническом университете, поэтому в письма каждый раз вкладывалось фото Берты и Юргена на набережной реки Кемниц, у городского зоопарка, у музея Альбрехта. Оказалось, этот молодой человек завоевал внимание юной Берты тем, что неизменно, вне зависимости от времени года, дарил ей ландыши.

«Не красные розы положил я тебе в постель».

Они встретились еще в ГДР, а прожили всю жизнь в ФРГ.

Их взрослый сын обосновался в Швейцарии, в Берне. Их дача – Sommerhaus – в Италии, в деревушке долины Val d’Orcia, недалеко от городка Сиена. Берта звала в гости в Германию или на итальянскую дачу. Я благодарила за гостеприимство, соглашалась, непременно, непременно, и знала, что не приеду никогда. Ни в Валь-д’Орча, ни в Хемниц. Никогда. Что я могу себе позволить на свою пенсию и крошечную зарплату? Все мое время, как и деньги, уходят на помощь дочери. Воспитывать нынче детей, тем более двойнят, трудновато. Но я намеренно не огорчала Берту и Юргена. Да и мой внутренний дух странника не почил еще; он точил шипы скандинавских палок.

Оказалось, что Берта вспоминала о нашей детской дружбе и внезапности прекращения переписки, но со временем не сумела отыскать писем и восстановить адрес. С тех пор слишком много всего произошло с нашими странами и городами. Жизнь произошла. Теперь Берта редко видит своих внуков-подростков – не сложились отношения с невесткой. Теперь Берта не работает, хотя не так давно служила в краеведческом музее замка Шлоссберг, а прежде – на городском почтамте. И она на почте, только представить себе! Однако у нее на-

верняка жалованье не чета моему. Раз в месяц Берта подробно рассказывала, как течет их с Юргеном жизнь, и ландшафт за ее окном менялся в зависимости от передвижений на их «фольксвагене».

Как я поняла, и в Хемнице, и в Валь-д'Орча у Дейсов имелись примерно одинаковые дома, разве что садики при них различались. Там и там дома были в шесть комнат: столовая, кабинет, две спальни, гостевая, библиотека. Садик в Хемнице в три сотки, где умещаются цветочные клумбы в виде альпийских горок, вишневые деревья и скамья под орешником. Тогда как на даче Дейсов разбит сад на площади в дюжину соток. И он настолько грандиозен, что его красотой восхищаются случайные прохожие и подолгу любят соседи. Здесь высажены всевозможные фруктовые деревья; кстати, только из писем я узнала, что каштан и грецкий орех тоже фруктовые деревья. Дейсы брали дачу в основном для внуков, но, подрастая, те перестали приезжать. Однако старикам жаль оставлять возделанную землю. С возрастом появилось время, правда, убавились силы. Садам в основном занимался Юрген. Берта вела домашнее хозяйство. Муж не знал бытовых забот, не знал, что такое ездить за продуктами, не интересовался итальянской кухней, предпочитал национальные блюда. Тогда как Берта любила и французские бриоши, и итальянские соффиони, причем мастерски готовила их сама.

Предыдущим Рождеством Берта рассказала о своих соседях в Валь-д'Орча, где Дейсы проводили все больше времени в году. Справа от них жили итальянцы, а слева – семья русских. И те и другие оказались необыкновенно доброжелательны и открыты, одним словом, с соседями повезло, чего не скажешь о соседях-немцах; не со всеми соотечественниками находилось взаимопонимание, тем более в наступившую странную пору – разделяющую, в пору изоляции и пандемии.

Мы всем миром теперь живем в эпоху возведения и разрушения храмов. Храмы внешние возводят на тех местах, где прежде срыли их с земли, взорвали или просто пагубно дали разрушиться. Разрушают же внутренние храмы, не веря в добро, не сопротивляясь злу. Необъяснимое противоречие.

Берту тянуло к семье русских. И хотя у тех росли три девочки, все же русские дети напоминали ей о временах, когда ее мальчики-«швейцарцы» были такими же купидонами. Берта с подробностями перечисляла все презенты для соседских детей и с упоением рассказывала, как упаковывала каждый. Юрген не ходил на детскую елку, но безропотно вносил эту статью в расходы семейного бюджета

и охотно финансировал «русское Рождество». Одним из поводов лишней раз зайти к русским теперь служили мои письма Берте. И хотя переписывались мы на немецком, с помощью электронного переводчика, что-то я все-таки писала по-русски, и тогда Берте требовался «живой» перевод.

«Ich freue mich über unsere Freundschaft».

«Я думала, только у русских есть дача».

«Komm im Sommer zu mir».

«Да нет, не знаю, посмотрим, как же достала эта пандемия».

В начале лета пришло письмо с невероятными новостями – швейцарская невестка предложила воссоединиться и жить со стариками в одном городе. Городом примирения оговорен Хемниц. Но чтобы туда попасть и встретиться с родными, придется по нынешним законам отсидеть две недели в изоляции, на домашнем карантине. Знать, что твои дети, которых ты не видел несколько лет, находятся совсем рядом, но ты не можешь их немедленно обнять из-за условностей, невыносимо. Берта возмущалась и проклинала пресловутый немецкий орднунг, который не давал ей перейти совершенно пустой перекресток, пока не зажжется зеленый свет, орднунг, который не позволял взбрыкивать и не подчиняться даже узаконенным глупостям.

Осенью пришло печальное письмо.

Оно не походило на прежние письма Берты, было скомкано по нижнему краю, куда съехал прежде четкий саксонский почерк. А финальные фразы приписаны незнакомым мужским почерком. В конце страницы Юрген писал, что у Берты пошатнулось здоровье. И даже очень хорошо, что они перебрались в зиму домой в Германию, преодолели все препоны в виде анализов, документов, вакцин. Здесь, в Хемнице, у них имеется домашний доктор. Herr Koch вел их семью уже около двадцати лет, грамотно диагностируя и консультируя их с Бертой, чем не раз помогал исцелению. Безусловно, я тогда забеспокоилась, но особо не придавала значения недомоганию, им бы наши проблемы.

Но в конце ноября мне пришло письмо, полностью написанное рукой ее супруга. И тут уже в пору не просто забеспокоиться, а угадать развязку. Юрген писал, что, окончательно перебравшись в Германию, они были в шаге от счастья: сын и внуки поселятся в Хемнице неподалеку от дома Дейсов. Многолетняя мечта наконец осуществится: произойдет воссоединение семьи. Теперь бы только и жить, зимами в Deutschland, а летом вывозить мальчиков в Италию. Но страшное происходит с Бертой. У нее прогрессирует слабоумие. Она уходит от него.

Все началось после переезда в Хемниц, как раз когда подоспело очередное известие из Швейцарии, и оно не обрадовало Дейсов. Сын сообщал, что препоны на границах не способствуют воссоединению, что существование внутри пандемии осложнило их жизнь и переезд в настоящее время неуместен. Проще выживать в одиночку.

Юрген в резком изменении планов упрекал вздорную невестку, а сына винил в малодушии. Берта замолчала, ушла в себя. Она слишком много ставила на эту встречу, слишком долго ждала прекращения бойкота. И когда ей в руки вложили добрую весть, а потом тут же ее отняли, эти руки стали все ронять, терять, мерзнуть.

Доктор Koch после полного обследования пациентки в своей клинике вынес вердикт: изменения необратимы. Юрген предположил причиной внезапной болезни некую вакцину, введенную Берте для получения аусвайса на беспрепятственное пересечение нескольких границ. Доктор Koch скептически отнесся к подобному предположению и утверждал, что всякое серьезное заболевание начинается задолго до явного проявления его симптомов. Юрген аргументировал: триггером стала прививка. Доктор пикировал, призывая в помощь генетику. Споры ни к чему не приводили.

Дейсы давно желали возвращения. Да, Берта вернулась домой. К себе. Это побег. Через границы.

*Карл-Маркс-Штадт, Карл-Маркс-Штадт,
Ты город красных цветов.
Карл-Маркс-Штадт, Карл-Маркс-Штадт,
Но я люблю только белые.*

В письмах Юрген сетовал на то, что теперь ему приходится осваивать русский язык, отвечать на весточки из России и самому отправлять соседским детям в Италию поздравительные открытки и бандероли на русское Рождество. Он не хотел нарушать традиции, а Берта, к сожалению, теперь не в состоянии выбрать и упаковать подарки. Юрген много на что сетовал. Ему приходится самому ездить за продуктами в супермаркет. Когда все только начиналось, он не верил в серьезность и необратимость происходящего. Временами он думал, Берта разыгрывает его. Когда наступало время обеда, он просил ее сварить суп, но Берта спрашивала: «Что такое варить?» Пятьдесят лет варила, а теперь забыла, как это делается?! Юрген принялся осваивать кулинарную энциклопедию. А, справившись с первым блюдом, довольный собой, в переднике жены и с фарфоровой супницей в руках шел в столовую, где заставал в слезах Берту. Та встревоженно смо-

трела на него и просила немедленно позвонить ее мужу в Карл-Маркс-Штадт. Юрген успокаивал ее, объясняя, что они и сейчас в Хемнице, а он ее муж. Берта отстранялась, плакала и снова умоляла позвонить мужу. Юрген делал вид, что звонит, но муж не отвечал.

Когда странное состояние, затмевающее сознание, внезапно исчезало, они вместе смеялись над тем, что Берта разучилась готовить. Берта бралась за выпечку, за любимые бриоши и соффионы. Выпечка выходила идеально, словно в опровержение мора. Весело обсуждали список сюрпризов к празднику. И верили: несмотря ни на что, это Рождество встретят со своими мальчишками, ради того столько преодолено. Смогут переубедить, и тогда наладится их жизнь, несмотря на разлаженность жизни вокруг. Разъединение чужого пирога, возможно, скрепит их немецкий семейный пирог.

Берта, не выказывая разочарования, поддерживала Юргена в упрямых надеждах, и ему казалось, болезнь отступила. Но когда сын перестал отвечать, нечем стало утешаться.

Однажды Берта вдруг спросила: «На сколько человек накрывать стол в Рождество?»

Юрген недоумевал:

- На двоих, Берта, если мы станем отмечать вдвоем.
- Ты уверен, Юрген?
- Или на шестерых, если наши дети согласятся отмечать с нами.
- Я спрашиваю, на сколько человек, Юрген?
- На двоих, Берта.
- А как же все они? Вот эти другие... Они что же, останутся голодными в рождественский вечер?

*Никакой резкости в цветке,
Нам нравится его запах,
Он приносит нам сейчас очарование весны.
Как будто белая песня звенит,
Как твое первое обручальное кольцо,
Как будто твоя первая любовь – думаю я.*

Сейчас мы трое вяло ходим от окна к окну, высматривая запаздывающий снегопад и Паньча с «обменом». Луиза отгоняет Алексанну Алексевну от салатов. На столе уже согревается охлажденное «Абрау Дюрсо». Луиза не хочет торопить события, одиночество дома – слишком мрачная перспектива под праздник. Алексанна Алексевна, напротив, не может дожидаться часа, когда мы запрем нашу почту на железный засов с навесным замком и повесим объявление про три выходных дня. Я же с особым нетерпением ожидаю приезда «каблучка». Мне се-

годня непременно должно прийти письмо из Хемница. На этот раз оно необъяснимо задержалось – как и снег, и нынешний день есть последняя возможность получить нечаянную радость в ночь под Рождество.

Нужно прервать затянувшееся бесснежье.

Паныч появляется незамеченным – прокараулили; пилсудские усы его сникли, взгляд суетлив. Устал. Пробки. По Москве невозможно ездить зимой. Дверь мягко затворяется доводчиком, сохраняя тепло. Позвякивает посуда, девочки расставляют приборы, пока я спешно выворачиваю всю корреспонденцию на большой стол. Минск, Пхеньян, Батуми, Владикавказ, Сопот, Юрмала, Пекин, Ухань, снова Минск.

Нету Хемница, Хемница нет.

Ноги становятся вялыми, я опускаюсь на табурет. Скажи мне сейчас поднять руки, я выше плеч не подниму – свинцовые. Будто подступило губельное. Тень, страшная тень будто надвинулась на всех нас. Тень будущего. Того, которое либо навалится, либо светом ослепит. Что скажут завтра? Гибель? Зараза? Нет краю пандемии, нет конца. Или завтра, вот прямо-таки завтра исцеление и больше ни слова о вирусе. И дальше свет, только свет. Если не еще большая тьма. Тьма необратимая, неотменимая тьма.

«Nur wenn es keinen Krieg gäbe!»

Хотелось сказать. Или сказалось. Или только прошепталося.

– Вы разливайте там без меня.

Но звонкий голос, совершенно детский счастливый крик Алексанны Алексевны – «Снег, снег!» – заставляет меня подняться с табурета и плестись за всеми к окну.

Мы вчетвером, как никогда не видавшие русского снега, облепляем одно окно и, сталкиваясь лбами, из-под рук друг друга тарашимся в черное стекло. А там, зная свой черед, вопреки всему неостановимо кружатся в идеальном хаосе белые цветки бессмертия. Чисто. Чисто. Снег идет.



МОИ ОТРАДНЫЕ ДЕНЬКИ



АЛЕНСАНДР МИХАЙЛОВ
Писатель и сценарист.
Родился в 1986 году
в г. Нерюнгри Республики
Саха (Якутия). Выпускник
магистерской программы
«Литературное мастер-

ство» НИУ ВШЭ и Creative
Writing School. Публико-
вался в альманахе «Пашня».
Изучал режиссуру театра
и драматургию. Профессио-
нальный мечтатель, лентяй,
завистник.

Жизнь, слава богу, прошла, эта случайная череда ощущений и беспокойств, но я могу еще вспомнить, память – это последнее, что связывает меня с прошлым. Я надеялась, что время рано или поздно исправит этот недостаток. Я думала, хуже быть не может. Я ошибалась. Мне вспоминается, как однажды за нашим сараем, где раньше стригли овец, я ковырнула лопатой кучу перегноя и впервые увидела клубок отвратительных копошащихся в навозе червей. И вот столько лет спустя эти извивающиеся в куске дерьма жалкие слепцы представляются мне моими милыми давно прошедшими деньками – хи – когда-то новыми. Все они бесполезно хранятся во мне, и от них мне никуда не деться. Я знаю, что есть способы помочь себе самой. Для этого нужно приложить усилие, всего лишь одно, но точное. И я знаю, что никогда не смогу. Остается уповать, что Господь смилостивится надо мной и избавит от этой дурной привычки без конца ворошить перегной прошлого. Но говоря откровенно, не шибко-то Он милостивый. Пока же я вынуждена и дальше выполнять свою маленькую работенку: быть, дожидаться и стараться не вспоминать. Например, как случайно все началось. Пахло землей. Я имею в виду не обязательно, то есть я могла бы и не родиться вовсе или сначала умереть, а потом уже родиться. Или появиться на свет с огромной водянистой головой, похожей на воздушный шарик; или прилепленной еще к какому-

нибудь пассажиру, точно нас двоих насильно усадили на одно место. Кажется, нет предела тому, что могло бы случиться, или тому, что может поведать кучка навозных червей, вытащенных на свет божий.

Я родилась в Березовке, и моего отца звали, надеюсь, Алексей. Он вечно где-то пропадал. Дома оказывался, только когда его приносили избитого или больного. Или он сам случайно забредал. Его страстью было разговаривать с насекомыми – так что надежды на него было мало. Отца часто можно было видеть идущим проселочной дорогой или через заросшие поля. Он гулял, где никто не ходил; спотыкался о кочки и рытвины, падал в канавы, поднимался, падал снова. Он ходил и ходил, размахивал руками, плевал в ненастное небо, грозил ему кулаком и что-то втолковывал мошкаре.

Его знали далеко за пределами нашей деревни, считали слабым на голову, а он не придавал этому значения. Он просто забывал, что все мы существуем.

Его переполняли собственные ускользающие от нас заботы. Ему необходимо было выяснить отношения и призвать к ответу... вот, правда, не помню кого. Это была его мания. Погодите, попробую вспомнить, я точно знаю, что для него это был кто-то очень важный.

Нет, не помню. Отец называл его по-разному, либо просто говорил: он. Часто при этом добавляя: гребанный. В сущности, папаша был ничего-так-себе роди-

тель, добрый малый, хоть и малахольный. Неудивительно, почему мать предпочитала иметь дело с его братом. Этот был полная противоположностью отцу. Он интересовался всевозможными делами, обожал петь и знал тысячи ругательств, самых неожиданных, Сашка – так его называли. У него был красивый высокий голос, и он говорил, что соперничает только с дроздами и вертишейками. Так и говорил: с дроздами и вертишейками. Трындеть он был мастер. Не знаю, чем насолили ему дрозды и вертишейки, но каждый день он усаживался на крыльце нашего дома и закатывал концерт. Всем очень нравилось. К несчастью, его одолевали разгульные порывы. О, это было сильнее его. Приступы возбуждения приводили его в неконтролируемое состояние, ставили под сомнение его жизнеспособность в целом. Его даже подергивало. Было ясно: его век короткий. Как-то осенью у него произошли значительные расхождения с зубами, и по неизвестной мне причине они его покинули, не исключено, что их кто-то на это подбил – хи! – какая я шутница, будто мне снова всего восемьдесят! С тех пор он замолчал. И уже всегда держал рот на замке, благодаря чему его стали считать человеком рассудительным и надежным. Однажды на охоте Гриша-печник пальнул из ружья прямо в сантиметре от Сашкиного уха, оперев ружье о его плечо. После этого случая Сашка утверждал, что ничего не слышит, и со временем заставил всех в деревне поверить в это. В его присутствии обсуждали самые разные проблемы, говорили открыто на любые темы, перемывали кости соседям, в том числе и ему. Сашка и бровью не вел. Он слышал все. Он прибывал на сапоги войлочные набивки, ходил очень тихо и многое знал. В общем-то, он здорово помогал нам по хозяйству, пока папаша разгуливал в компании комаров. Раз подарил нам телка. Я очень его любила, называла Жопкой, не Сашку, а телка, Сашку Жопкой называла мамаша, но он запрещал так себя называть, а мамаша постоянно стегала его кнутом, не Сашку, а телка.

Дедов я не знала, бабку свою помню едва, лишь ее юношеские усики с бородкой – вот как у меня теперь, только у нее было нечто в татаро-монгольском стиле, я же сделала выбор в пользу элегантно-непринужденности. Но не суть. Бабка жила в пристройке дома, окруженной огромными кустами смородины, и никого к себе не пускала. Покидать ее она тоже отказывалась. Мать передавала ей пишу через выпиленное окошко, забирала ведро-парашу. Порой мне или братьям поручали отнести ей дров. Я оставляла поленья у входа, подкрадывалась к окну и пыталась разглядеть, что же было там такого пленительного внутри.

За мутным стеклом была лишь крошечная тьма, которую она избрала своим последним прибежищем. Вот и все. И едва белела крошечная сухая голова, замотанная в платок. Если она замечала, что кто-то подглядывает, тут же принималась материться и звать сына. После морозной и долгой зимы пристройку снесли. Кажется, вместе с ней. Мать остервенело разносила эту пристройку по досочкам. Больше такой счастливой я ее уже никогда не видела. Я вообще предпочитала на нее не смотреть и в доме с ней не сталкиваться. Говорю как есть: я не любила свою мать. Но думаю, что понимала. Она старалась. Тащила себя через жизнь как могла. За свой век она родила семнадцать детей, из которых только четверо выжили, я и три младших брата. Остальные умирали, не дожив и до двадцати. Они тонули в прудах, падали с мостов, сгорали в сараях, травились водкой, замерзали на дорогах, истекали кровью, не говоря уже об обычных болезнях, свойственных человеку. Но вопреки тому, что молодое поколение нашей семьи спешило покинуть этот мир так рано, а может быть, как раз вовремя, Сашка не отчаивался, он все силы прикладывал, чтобы помочь брату Алексею продлить наш род. И хоть фамилия наша была Трохины, все нас звали Алексашинями. Моя мать была не против. Она с многими была не против. «Главное, чтоб польза была», – любила повторять она. Чтоб не беспокоить нас по ночам, она принимала в дровянике. В нее свободно входили, радостно осваивали, легко покидали. Наутро я обнаруживала в предбаннике то корзину грибов, то курицу, то банку молока, то масло, яйца, в общем, разное. Ага, разное. Сашка домогался, не против ли я. А что я? Нормально. Я была не против. В те деньки я была такая ветреница. Хи! По крайней мере, это избавляло меня от взбучек в течение дня. Мать знала назубок неотъемлемое свойство всех ребенков этого мира – если их хорошенько отлупить, они прекращают просить еды. И она умела этим пользоваться. Она каждый день находила тысячу причин, по которым ее праведный гнев мог обрушиться на нас. Следом шли пинки, оплеухи... наотмашь... удары ремнем... по спине... поленом... все, что приносит боль, не калеча работника, и сохраняет его работоспособность. Такое не забываешь. Так что в четырнадцать, окрепнув и став сильнее большинства деревенских мальчишек, я хорошенько вломила мамаше. Она не на шутку испугалась. Словом, жизнь начала налаживаться. Но это оказалось уж очень скоротечным и эфемерным. Как радуга. Поскольку уже через пару месяцев по всему нашему семейству был нанесен настоящий удар.

Его нанес Жопка. То и дело мычали коровы. И молодой бык, начавший, как и я, отстаивать себя, сокрушительно лягнул Сашку в промежность. Случай всегда поджидает, чтобы прикончить вас. В это я еще в детстве врубилась. В полустоячем положении Сашка вернулся к себе домой и удалился на печь. Последующие дни он не сходил с нее и становился все слабее и слабее, пока не скончался. Это была непоправимая потеря для нашей семьи. Мать охватило форменное иступление... Она выла, как подоженная кошка... Солнца уже не было. Она схватила ружье и выстрелила в Жопку... из обоих стволов... в самое брюхо... Он долго умирал. Уже взошла луна, а его мучения все не прекращались. Лежа на боку, он учащенно дышал, устремив взгляд на длинное деревянное корыто-поилку, а в распахнутые двери коровника задувал ветер. Я не умела ему помочь, и он никак не мог умереть; стонал, прощаясь с другими животными, и я уверена, что и со мной... Как только его глаза подернулись пленкой, не став дожидаться утра, я сбежала из дома, нет, неточно, я просто ушла. Никто меня не держал. Ветер стих. Я собрала небольшой узелок, вышла на крыльцо, спустилась с него; прошла мимо дровяника, из которого раздавались знакомые мне звуки, подошла к калитке, потом сняла со столбика проволоку и открыла калитку. Так постояла во тьме, слушая шорохи дикого леса и то, что происходило в дровянике; Господи, на небе было столько звезд! Они то и дело падали и падали, невозможно было угадать, откуда полетит следующая. Затем я вернулась к дровянику и подпала его, потом аккуратно закрыла за собой калитку.

Я отправилась на железнодорожную станцию. Шла и шла. И когда мир вокруг уже серел и становился плоским, на противоположной стороне дороги я увидела одинокую фигуру, нет, не на дороге – на обочине. Было непонятно, женщина это или мужчина. Я всегда была осторожна на этот счет, потому как обо мне даже при свете дня всю жизнь говорят то же самое. Женщина или мужчина двигался в том же направлении, только по отросшей траве сбоку дороги, и штаны на человеке были по колено мокрые. Я говорю «на человеке», потому что на это было более всего похоже. Довольно быстро я нагнала фигуру и тогда уж разглядела, что это был мужчина. Я говорю «мужчина», потому что на мужчину это было более всего похоже. Мужчина остановился и стал ждать, пока я приближусь. Когда я подошла, он спросил, куда я направляюсь. Я сказала. Спросил, сколько мне лет. Я сказала. Почему я одна? Я ответила. «Хорошо», – сказал он, повернулся и двинулся дальше. Я дала ему пройти чуть вперед

и последовала за ним. Шла по дороге рядом, как дворняга бредет за человеком. Он продолжал свой путь по обочине, загребая ногами траву. Там, где растительность была особенно высокой, он трогал ее ладонями, отчего рукава его телогрейки тоже были мокрыми. Прежде я таких не встречала, от него не было ощущения опасности, как обычно бывало от людей. Скорее он походил на мертвеца, и с ним мне было спокойно, поэтому на развилке я пропустила свой поворот на станцию.

Молча. Мы шли и шли. Через заброшенные поля. Смотрели, как сбоку от нас вставало солнце. Оно еще не набрало силу, и можно было смотреть на него не щурясь. Оно перекачивалось и переливалось, но тепло не становилось. «Солнце лукаво», – сказал он. Я ни хрена не поняла, что это значило. Мы дошли до какой-то деревни и сели на лавку у окраинного дома. Тут уж я смогла рассмотреть его как следует. Он был такой же, как все, как вы или кто-то другой, примерно вашего возраста, такой же ширины, толщины и роста того же, то есть костлявый, уродливый, истрепанный, убогий, изможденный, с остатками гнилых зубов, таскавшийся по земле. «Моя фамилия Гоб, – сказал он, – люди всегда меня звали Гоб. Я тоже имею дурную привычку ждать и надеяться. Ха. Г-О-Б. Анаграмма бога, – говорил Гоб, – ха-ха». Он испустил газы. «Не говори “гоб”, пока не перепрыгнешь. Ха-ха-ха.» Гоб рыгал и посмеивался, из нутра у него сильно воняло. «Я коновал... Я хожу от одной деревни к другой и помогаю животным, но не людям. Ха. Но они думают, что я помогаю им. Ха-ха. Но люди меня никогда не интересовали. Ха-ха-ха. Ха-ха. Ха». Гоб напоминал мне отца.

Отдохнув, мы двинулись дальше. До полудня прошли еще две деревни, и когда день уже клонился к вечеру, мы оказались на богатом хозяйстве: несколько овчарен, свинарники, конюшня, всякие там постройки, навесы, амбары, земли море! Нам на встречу выскочила свора собак и стала кружиться у наших ног. Следом появился старик, но не подошел к нам, а только молча разглядывал нас на расстоянии. Одежда на нем была невозможно дырявая, сплошные лохмотья, один рукав куртки оторвался и висел на лоскуте ткани. Собак он не отозвал, и они продолжали облаивать нас. «Я Гоб», – сказал Гоб. Старик назвал себя, прикрикнул на собак и знаком велел следовать за ним, так мы и сделали. Он привел нас к себе на конюшню. В самом конце за стойлами была клетушка напротив комнатки конюха – нам отвели ее и дали по ватному одеялу. Мы накидали туда сена, там нас покормили, там мы отдохнули, походили, осмотрелись; там провели ночь. Лежа в темноте,

я слушала, как изредка, во сне, посапывали лошади да где-то далеко друг с другом перелаивались собаки, и пахло соломой, а ночной свет опускался через зазоры в углу крыши. Мне было четырнадцать. Ночью прошел дождь. И посапывали лошади...

Следующие три дня мы работали в коровнике и на конюшне: вставали до рассвета, обрезали копыта, удаляли рога, клеймили, делали выщипы. Я говорю «мы», потому что я так хочу, но, конечно, в счет шел только Гоб. Но я во всем помогала ему, и у меня неплохо получалось. Благодаря своей физической силе я могла одна завалить бычка и удерживать его, пока Гоб его холостил. Позже я научилась справляться с этим сама и, не побоюсь впасть в преувеличение, с годами достигла небывалых высот в области кастрации. Я виртуозно холостила барашков, бычков, жеребят, поросят и козчиков, умалчивая уже о петушках. Люди специально собирались посмотреть на мое мастерство. Я изобрела свой неподражаемый способ. Это требовало незаурядной ловкости и вызывало всеобщее восхищение. Мужчины ахали, женщины вздыхали, дети смеялись. Но тогда я еще только всему училась у Гоба. Он показывал мне, как делать мази, лечить скотину, пускать кровь. Мне нравилось проводить дни на скотном дворе, вдыхать эти запахи, слышать пощелкивание хлыстов. Я задавала корм, чистила шкуры и стойла, стреножила, выводила на выпас. При моем появлении животные поднимали головы и, не прекращая жевать, смотрели на меня своими влажными глазами. А я чувствовала себя надежно среди них. Мы разговаривали. Я советовалась с ними, делилась размышлениями. Я им многое рассказывала, чего не рассказала бы никому никогда. Гоб видел, что я понимала животных лучше других и тем более лучше его. То есть я не говорю, что понимала животных лучше, чем Гоб. Я хочу сказать, что понимала их лучше, чем понимала Гоба. Что касается других людей, то они нас сторонились, и меня это устраивало.

Мы приходили и уходили, мимо одних мест в другие, из других мест в новые, возвращались и не возвращались. Ускользали прежде, чем кто-либо успевал сообразить, чем еще мы можем быть выгодны. Мы напоминали лесных дикарей. Гоб так вообще предпочитал спать на улице. К людям он был безразличен. На худой конец, он ночевал в хлеву вместе со скотиной. Только серьезные холода могли загнать его в дом. Тогда он рассказывал мне о душах животных и как их можно услышать. Многие пускавшие нас переночевать явно считали, что мы сумасшедшие, потому были весьма предупредительны с нами, особенно женщины. Некоторые мужчины, те, что по-

старше, заговаривали с Гобом, спрашивали обо мне. Гоб отмалчивался, иногда согласно кивал. Его отношение ко мне можно было назвать снисхождением. В нем не было ни сочувствия, ни доброты, ни жалости. Он просто позволял следовать за ним. «Хочешь – уходи», – говорил он. Я терпела. «Нам надо идти туда», – говорил он. И мы шли туда. «Оставайся здесь», – говорил он. И исчезал. Потом объявлялся, ни слова не говоря, точно тех дней, что его не было, и вовсе не было. Я боялась, что однажды он не вернется. Так и вышло. В точно такую же ночь. Я заболела, и Гоб оставил меня. Не уверена, что случилось первым. Из-за прошедшей грозы ночь захватила нас в поле, тогда у меня и случился выкидыш. Дул холодный ночной ветер. И долго на сырой земле не удавалось развести огонь. Наконец удалось. Гоб взял мешок, все убрал, ушел с этим мешком в темноту. Через некоторое время вернулся из темноты, спросил, смогу ли я идти дальше. «Нет», – ответила я. «Ясно», – сказал он, так постоял, повернулся и пошел прочь. Он удалялся во мрак, свет от костра еще немного выхватывал его спину, и было слышно, как его шаги приминают высокую траву. Дальше я была одна. С трудом у меня получилось подтащить ветку дерева и бросить конец ее в огонь. Взметнулся столп искр и тут же растворился в ночи. Пламя стало еще меньше. Кругом меня была тьма; и миллионы звезд на небе, а за звездами снова одна сплошная тьма. В ту ночь я лежала, скрючившись на подстилке, дрожа всем телом, смотрела на переливающиеся угли и слушала, как по ту сторону границы света от костра раздаются шепоты и крики всяких ночных гадов. Над огнем проносились летучие мыши. Угли потрескивали. А от земли шел холод. И так длилось и длилось. Многие и многие годы. Пока в какой-то отдаленной части неба не засерел свет нового дня, слабый свет очередного нового дня, бледный бессильный свет зачем-то нового дня.

Тогда я встала, если это можно было назвать вставанием, и пошла, какой есть, нет, какой была, с запекшейся кровью и в лохмотьях, в которых была, без сил, без цели, друга, хлеба, Гоба, и устремилась по пыльной пустой дороге, по чьему-то пути, в чужом направлении, мимо незасеянных полей, в которых не было ни мужчин, ни женщин, которые возделывали бы землю, а при моем приближении прикладывали бы ладони козырьком ко лбу, рассматривая меня или махали бы мне рукой, приглашая остановиться и разделить с ними сколько есть, нет, сколько было, хлеба, друзей, надежд, планов и так далее, пока дни бы мои не завершились или со мной не произошло несколько самых простых, заурядных вещей, привычных для

каждого человека, а лучше и то и другое, потому что невозможно не мечтать, не надеяться, не искать и не ждать, потому что невозможно.

Стояло лето. Лето! Со всем летним, причитающимся этому времени года. Все было летнее. И сверху, и снизу, и по сторонам. А после того, как закончилось лето, закончилась осень и так далее, а я жила в Ирово, в маленькой деревне, где меня приняли, пожалуй, сменю ритм, манеру, чтобы не уснуть. Попробую ускориться, мой мочесборник уже полон. Дальше.

У Вани, кроме доплаты по инвалидности, были черные смысленные глаза и длинные ресницы. Как у Жопки. Хоть попил он и не в меру, но считался завидным женихом, обладавшим внушительным хозяйством, просто залюбуешься – и здесь я говорю о совокупности всех средств производства, используемых для создания и улучшения условий существования. В нем все было как надо. Не хватало лишь ног, что делало его весьма ограниченным в передвижениях. Нелепый случай. На посевных прилег вздремнуть в тенек под трактор – его и не заметили... Подняться самостоятельно он уже не мог.

До того, как появилась я, за ним ухаживала его сестра Рая. Она-то и углядела меня, когда я брела через их деревню. Удивительно, какой остроты стало достигать ее зрение после того, как в масленичную неделю ее муж, о котором я умолчу, выбил ей глаз кнутом. Имея оба глаза, уверена, она бы меня и не заметила. Увы, не в пример зрению, Раина трудоспособность сильно преуменьшалась хроническими запорами, отчего большую часть дня она проводила в незатейливом деревянном строении, а также в нескончаемых потугах и глубоких размышлениях. Но сидя там, где сидела, Рая не предавалась пустой софистике, о нет, она неустанно плела корзины, которыми торговал ее муженек.

Немудрено, что Ване все это доставляло значительные неудобства, и в их доме я пришла как раз кстати. Признаюсь, меня это здорово утешало. Нет-нет, я не строила иллюзий на свой счет. Ни в коей степени я не была приятной наружности. Я понимала, что Ваню во мне привлекала исключительно моя мощь. Очевидно, они с сестрой рассчитывали использовать меня для сельскохозяйственных работ. Но я была молодая девушка. У меня никого не было. И временами мне бывало одиноко. Как вот сейчас.

Хорошенько подумав, я признаю, что пребываю в этом состоянии всю свою жизнь. Да-а-а...

Можно было ожидать, что, оказавшись обеими ногами в могиле, Ваня будет охвачен отчаянием и новое положение вещей сломит его. Но не тут-то было! Ваня был искренне рад, что случай избавил его от

двух докучливых конечностей, служащих постоянным поводом для работы. Теперь же он был свободный человек. Труд оставил его. Никто ничего от него не требовал и не ждал. Он вел тихую, мирную, а главным образом созерцательную жизнь. Потеряв ноги, он впервые за многие годы стал счастлив. «Что за деньки!» – с явным удовольствием приговаривал он. Ваня расцветал. Я выносила его с утра на крыльцо, где он и оставался, встречая и провожая солнце, вплоть до самого вечера. Дом их окружали старые березы, и даже в жаркие дни на дворе была тень. Ваня наловчился одной рукой приспускать штаны, другой рукой опирался о ступеньку, щебетали птицы, и, повернувшись на бок и слегка изогнувшись, мочился с крыльца. Иногда я замечала, что он засыпал, нижняя челюсть его отвисала, а изо рта, поблескивая в лучах солнца, протягивалась нитка слюны. Ваня начинал опасно крениться. Тогда я бросала работу и передвигала его, точно болванку, на солнышко или в тенек, по-разному. В целом хлопот с ним было мало, он был тихий алкоголик, одно слово – сокровище.

По праздникам Ваня обожал устраивать у нас во дворе гуляния. Накануне я выставляла под березами в ряд столы, перевязывала их шпагатом, чтобы не разъезжались. От соседей притаскивала скамейки. Райка выползала из своей пещеры и целый день готовила. Каждый без исключения был охвачен приятным волнением. В день праздника собиралось множество народу. Ванину щедрость знали все. Приходили даже из соседних деревень со своими стульями. Я разносила еду. Райка усаживала брата во главе стола, и он произносил первый тост. Подняв стакан и дождавшись тишины, он напоминал всем собравшимся, что в жизни нашей ничто не случайно и порой может показаться, что все мы отданы на волю случая, но это не так. За всем стоит непостижимая иная логика, и он отчетливо ощущает ее. Теперь, целыми днями напролет, со своего крыльца он без усталости следит за тем, как встает и садится солнце. Оно очень пунктуально, должен доложить он, и дирижует всем, что находится под ним, всяким дыханием. Каждый божий день он убеждается в этом. И порой несчастье является скрытым благом, вот если бы он не потерял ноги и тому подобное, словом, трепотня. После его выступления все наконец принимались за угощения. Накладывали себе горы еды, двор наполнялся звуками работающих челюстей и глотающих глоток. Самогон пили из кружек, проглатывая вместе с утонувшими в них осами. Зубы вгрызались в кости... рвали мясо, трещали хрящи... вибратор отрыжек и газов, чавканье

и бульканье... это было что-то невероятное... птицы переставали петь... к вечеру выставляли брагу.

В одно из таких гуляний, когда подъели все подчистую, Ваня заставил меня продемонстрировать перед гостями свое мастерство. Ничего не поделаешь, публика требовала развлечений. Уже садилось солнце, когда от Курниковых привели барашка. Рая встала и прошла в дом. Несколько минут спустя она вернулась, неся в руке мясницкий фартук и мою дорожную сумку. Затем передала их мне. Барашка загнали прямо к столам, обступив со всех сторон. У животинки не было ни единого шанса, уже довольно взрослый и крупный, он пытался вырваться из окружения. Вечно одно и то же. Я схватила его, подмяла под себя, повалила на бок и вытащила из-за пояса веревку, потом связала вместе три ноги, а свободную заднюю одной рукой подтянула к плечу, уселась на землю и выложила его у себя на коленях. Животное лихорадочно дергалось, пытаясь вырваться. Охваченный диким страхом, барашек обгадился, но в жизни это еще никого не спасало. Мне подали инструменты, я приняла их, переложила нож в правую руку, а левой захватила и оттянула мошонку. Голова его стала мотаться во все стороны, животом и бедрами я ощущала, как бешено колотится кровь по его артериям и венам, и тогда рукой, которой я держала нож, я прижала его голову к своей шее. Крепко-крепко. Из ноздрей у животного вырывалось горячее дыхание, а из пасти летела слюна, и в черных, полных ужаса глазах отражалась я. И столпившиеся в круг люди, от которых ему было уже не деться, и их длинные тени. Пальцами я стала поглаживать барашку голову и тихо сказала ему на ухо, сказала, как научил меня Гоб, сказала, как есть, как было и будет, сказала ему: я делаю это просто так. Гости радостно вопили, тыча в нас пальцами, а за их спинами тянулись в пустое небо деревья, дальше шла линия проводов, и еще дальше, над всеми нами, висело красное солнце. Подумать только, я и не представляла, что так хорошо запомнила все детали. Тушу выпотрошили и повесили на молодую березу охладиться. Ручейки крови, стекая с туши, бежали по траве, отыскивая и прокладывая себе путь. К тому моменту, как сгустились сумерки, дети уже вырыли яму в крапиве у ручья, куда и закопали шкуру с потрохами. Взрослые до глубокой ночи не прекращали веселиться. О туше вспомнили только на следующий день, но она уже подтухла на жаре. В беспорядочном движении вокруг нее кружили мухи – здоровенные, как ласточки.

А потом Ваня обожрался и умер. Почил в бозе, выржаясь его слогом. Прямо во время одного из своих застолий. Что-то вроде апоплексического удара.

Солнышко, лукавый дирижер, добило его. Схоронили быстро, без речей, народу было мало, мертвый издавал зловоние. Засунули его в рыжую-рыжую землю, сухую и жесткую. Рая сплела из ивовых веток и прутьев ему ноги, и для гроба надели штаны. Ножки получились худенькие и угловатые, но зато Ваня обрел свой былой рост, и многие, видя его в гробу, удивлялись. В коре веток жили муравьи, и во время прощания они шнуровали по лицу покойника туда-сюда, эти неугомонные пилигримы. В ноздрях у них было что-то вроде Нового Света. Их похоронили вместе. Когда засыпали, комья сохлой земли стучались в крышку гроба, точно возвратившийся управитель ждал, пока ему откроют. А оттуда, из ямы, поднималось облако красноватой пыли. Оно вырывалось из земли и, оказавшись снаружи, охватывало всех нас, рядом стоявших, обнимало и словно звало в эту яму последовать. Под одеждой пот тек ручьями, мы читали молитвы, а на лицах оседала красноватая пыль. Обрато лошади еле тащились по жару.

После Ваниной смерти Рая распродала все хозяйство, оставив для себя только малую часть. Она по-прежнему проводила дни своей жизни в отхожем месте, еще сильнее тужась и еще крепче размышляя о чем-то своем. А у меня появилось много ненужного времени. И я уходила гулять. Бродила по старому лесу, луговинам и пажитям, поднималась на дикий бугор. Ходила и ходила. Как когда-то с Гобом. По выгоревшим полям. Тарашилась на рябую землю, твердую и унылую; глядела в пустую даль. И начинала понимать, что искал мой отец и почему не мог от этого отказаться. Я стала, как и он, разговаривать сама с собой. Я пришла из... говорила я в пустоту, то есть в окружающий мир, и описывала место, откуда я пришла. Я родилась в... говорила я, и рассказывала где и обстоятельства своего детства. Моя несчастная мамаша и отец-идиот, говорила я, и их портреты представляли вновь перед моими глазами. Еще говорила я: в четырнадцать лет мой дядя, любимый Жопка, потом гребаный Гоб и вот наконец. Никто меня не слышал.

Один раз в поле я натолкнулась на границу дождя. Меня это поразило. Граница была прямо передо мной. Не было ни ветра, ни облаков на небе, ни запаха дождя. Но он был. Дождь. Лил прямо напротив меня, а там, где я стояла, было сухо, ни капли. По ту сторону все напитывалось влагой. Земля становилась мокрой, листья на деревьях подергивались под ударами капель, а травы трепетали; птицы с поля слетались туда. А я стояла, как замороженная. Стояла не шевелясь и смотрела на дождь. Пока он не прекратился. И больше дождя не было. Нигде.

ЕЩЕ НЕТ



ВАЛЕРИЯ КРУТОВА

Родилась в 1988 году. Получила юридическое образование, работает специалистом по информационной безопасности. Участник 18-го и 19-го Форумов молодых писателей, организованных Фондом социально-экономических и интеллектуальных программ.

Ее было несложно отличать от других. Маленький рост, скажем так, росточек. Зайдет, вприпрыжку взглядом палату обойдет, «все в порядке?» спросит и уйдет, получив пару слабых кивков от пациентов. В защитном костюме она выглядела комично, если бы это подходило ситуации, но не подходило, поэтому Амина выглядела пятилетней в мамином офисном платье-футляре. Я не видела ее лица, но могу предположить, что она симпатичная. Ковидник – место, где я могу фантазировать и выдумывать людей, не искажая этот процесс реальностью.

Мы разговорились с ней нечаянно. Амина потянулась через мою койку к подоконнику, и я предложила протереть его самостоятельно. Взяла тряпку и начала убирать свои вещи – зубную пасту и щетку, пакет с огурцами и лимоном, витамины, ноутбук с мышкой, коробку «Рафаэлло», пятьсот тенге (за воду от соседки), крем для лица, рулон туалетной бумаги, ватные диски, две бутылки минералки, мицеллярную воду, гигиеническую помаду и влажные салфетки. Все это горой лежало на кровати. Тряпка воняла хлоркой, но я и сама ею отчаянно воняла. Не страшно. Да и руки уже привыкли к бесконечному мытью и антисептику.

– Как там бабушка из шестой? Лучше ей?

Позавчера из соседней палаты в реанимацию увезли старушку, она лежала под кислородом, не вставая, и бредила. Врач сказал, что на фоне кови-

да она немного тронулась, заговаривалась, говорила о том, чего нет. Странно, как это нет – если она это видела или знала, значит, это есть. Просто мы не в курсе. Пока еще.

– Да, она уже сама дышит. Ее в другую больницу увезли.

– Здесь нет реанимации?

– Интенсивная терапия только. Тяжелых увозят сразу.

– Давно работаете тут?

– Две недели. – Амина иголкой юркала между кроватями и тумбами, протирала холодильник, раковину мыла и говорила спокойно абсолютно. – Меня подруга сюда устроила. Я в Талгаре живу, работать надо, а работы нет. А здесь ставка выше. На целых тридцать тысяч.

Талгар минутах в тридцати от Алматы. Если без пробок. Через день она мотается сюда на автобусе, чтобы получить повышенную ставку. Восемнадцать лет, на медика поступить хочет, три сестренки, мать болеет, отца нет. Поступить хочет, а учиться возможность нет – работать надо и семье помогать. Три сестры, мать, отца нет – одни женщины. Косами чернющими переплелись и охраняют свой очаг, как могут. Отца нет – огня нет, костровище в сердцах. Говорит, недавно умер. От ковида.

– Ты болела? – спросила у нее.

Я уже встала и начала протирать кровати.

– Нет еще, – спокойно еще так сказала – «еще». Говорят, что переболеют все. Нет. Заболеют все, а вот переболеет не каждый. – Вы вакцинированная?

– Да. Трижды. – И будто оправдываясь: – Третью недавно только сделала, антитела не успела выработать.

– Сейчас все болеют.

Я огляделась, мне больше нечего было протирать. Амине осталось помыть пол, вытряхнуть урну – и все, до утра уйдет. Утром придет, выгонит на кварцевание, а потом сдаст смену.

– Спасибо большое. – Я протянула ей конфету.

– Ой, и вам спасибо. – Она взяла конфету и положила на пустующую койку рядом со мной. – Сейчас домой и заберу. Вообще, нам нельзя ничего брать.

– Я никому не скажу, – улыбнулась и залезла с ногами на кровать.

Амина домыла пол и обернулась у выхода:

– Вам свет выключить?

– Да, спасибо.

Фонарь за окном освещал комнату. Стена напротив была исполосована тенью веток. Темно-серые шрамы на бледной коже. Я искала в них фигуры, лица, силуэты, так, будто бы я лежу на зеленой лужайке и на облака смотрю. Фантазирую. И реальность не вторгается. Это спасает. Я сейчас ненавижу реальность, стоны ненавижу, запахи, шипение кислородного баллона, грохот медицинской тележки, с которой санитары обход делают. На тележках пульсометры, тонометры, градусники, уколы с кроворазжижающим. Санитары, как проводники, в купе входят и без спроса причиняют тебе свои товары. А ты покорно ложишься, задираешь майку – около пупка синяки уже, вытягиваешь руку, израненную капельницами, тянешь палец – на левой сатурация лучше почему-то – и доверяешь им, потому что нечего больше делать здесь. Доверять и фантазировать.

Я включила музыку и начала расставлять свой нехитрый набор необходимых вещей на подоконнике. Потом открыла окно и получила морозную пощечину. Приятно до судорог, и холодно еще.

Когда я переехала в Алматы, моя работа была связана с постоянными поездками в Талгар, где живет Амина. Город поселкового типа, или наоборот, не знаю, но ехать туда зимой было, мягко говоря, неудобно. Сначала на автовокзал, оттуда попутка за сто пятьдесят тенге туда, и столько же обратно. Каждый раз было страшно, а вдруг водитель маньяк какой-нибудь. Но обходилось. Сейчас, Амина сказала, попутка стоит пятьсот тенге в одну сто-

рону. И столько же обратно. Автобусы всегда полные или всегда холодные. Или и то и другое. Но она настырно едет в ковидник, полный причины смерти ее отца. Каждый раз как напоминание, почему она вообще это делает. Почему позволяет февралю лупить ее по щекам каждое утро. Интересно, она спит в поездках или боится, как я. Я тогда постоянно хотела спать, но казалось, что закрою глаза – и у меня телефон уведут или меня саму куда-нибудь в овраг. Таращилась на заснеженные холмы, дорогу в поземке, грязные машины, пускающие темный дым из выхлопной трубы. Частенько на перекрестке водительская дверь какой-нибудь из машин открывалась, и водитель, высунувшись по пояс, смачно харкал на дорогу. Этой прекрасной традиции не мешают даже штрафы.

Амина зашла на следующий день перед окончанием смены:

– Вы знаете, если вдруг понадобится... ну там, окна дома помыть или уборку сделать. Вы мой номер запишите, я приеду. Между сменами. Это же тоже работа.

– Ой, конечно. – Я достала телефон и записала номер, судорожно соображая, кому могу порекомендовать ее.

– Вы звоните! Спасибо!

Она ушла, а я сидела, обхватив колени, и ждала завтрак, который принесет уже другая санитарка, ее я опознать не могу, как и всех остальных. И имен у них нет. Но наверняка тоже есть холодные попутки, любимые люди, которым надо помогать, страхи, косы черные, конфеты от пациентов, надежды, планы и уверенность, что придет весна и февраль больше не будет лупить их по щекам за желание получать ставку на тридцать тысяч больше.



умением быть отцом и признанием в нем родственной души. Они с мужем, словно два брата – спиной к спине, – несли дежурство, забыв про отдых и личную жизнь, воевали то с газами, то с зубками, то с приучением к горшку. Олеся не могла заниматься любовью с человеком, с которым разделила родительство.

Многие месяцы они пытались не обращать внимание на отсутствие влечения, списывали это на гормоны, усталость и привычку, пока однажды муж не переспал с коллегой на корпоративе. Он пришел домой пьяный, растрепанный и, по привычке, все рассказал Олеся, будто бы она не жена, а лучший друг. А Олеся, вместо боли и разочарования, ну или хотя бы обиды, почувствовала зависть.

Она требовала подробностей, пока муж не уснул посреди рассказа прямо в кресле. А утром призналась, что тоже хочет заняться настоящим сексом, а не имитировать его. Муж больше не мог ей этого предложить, тогда она предложила свободные отношения. Они оба боялись совершить ошибку. Тут вроде как семья, ребенок, кредиты совместные. А там, по отдельности, какая-то другая жизнь, они отвыкли от нее. Они выходили на свободу осторожно, как морскую воду пальцем трогали в начале лета – отдергивали ногу, озирались друг на друга, но входили. У мужа получилось нырнуть с головой, а у Олеся нет. Она так и стояла на берегу, свободная, и не ршалась погрузиться полностью. А может, это сама вода ее не пускала, выталкивала на берег, стоило ей только ступить в нее. Олеся была смелой лишь в мечтах.

Мечты стали для нее отдушиной. Она включала музыку и конструировала целые жизни внутри себя. Как в компьютерной игре, она меняла внешность, социальный статус, образование, характер, даже другие эпохи пробовала. Но всегда в мечтах оставалась влюбленной и сумасшедшей, готовой на самые безрассудные поступки, на самые смелые слова. Она выбирала лучших мужчин и представляла себя лучшей. Даже когда укладывала девочку спать, она включала музыку и под каждую мелодию создавала отдельный мир, отдельного мужчину и отдельное развитие событий. В каждом мире – она была счастлива. Девочка засыпала, Олеся вслед за ней, довольная очередным признанием в любви и ощущением, что это навсегда.

Дочку Олеся никогда не называла дочкой. Девочка. Это была девочка. Любимая, окруженная вниманием и заботой, но девочка. Олеся было страшно определять словом «дочка» свое материнство, свой возраст, свое окончательное и бесповорот-

ное становление во взрослой жизни. Она несла ответственность, но не хотела ее номинировать. Она была хорошей матерью, хотя никогда не мечтала об этом.

Когда девочке исполнилось два года, Олеся и муж отдали ее в домашний детский сад. Там была чудесная женщина-воспитатель и пятеро детей. Такая мини-семья на время, когда макси-семья на работе. И Олеся вышла на работу. В первый же день, в курилке, куда она вернулась после трех лет никотинового воздержания, она встретила мужчину. Он был довольно симпатичен, высок и уверен в себе. Курил быстро и последние затяжки делал, держа сигарету большим и указательным пальцем, это демонстрировало, как он занят и востребован, даже покурить, докурить нормально нет возможности. В наклоне он тушил бычок в урне, поправлял полы пиджака или отряхивал, непонятно, и быстрым размашистым шагом уходил. Олеся переставала вдыхать в тот момент, и сигарета сама по себе тлела. Он курил неинтересно, он докуривал так, что был готовым персонажем любой из ее грез.

Олеся выяснила, где он работает, и нашла его в инстаграме. Каждое утро она просматривала его довольно скудную страницу, обновленную еще в прошлом месяце свежей фотографией, но и фото было не его – какой-то горный пейзаж. Снимков было мало, а с лицом и вовсе буквально пара штук. Но она выучила его внешность наизусть. Чуть кривые губы – это проблема прикуса. Крупный, но аккуратный нос, глаза большие и зеленые, волосы – сейчас чуть отросли, но раньше почти ежиком, шея длинная с родинкой прямо в области сонной артерии. Каждое утро она представляла, как целует эту родинку и утыкается носом в ключицу мужчины, имени которого даже знать пока не хочет. Ей снилась эта ключица, снился запах его и снилось, как она вдыхает через шею этого мужчину полностью, вбирает его и принимает в себя. В молчании ее он был цельным, настоящим, она не готова была делиться его существованием вслух. Не готова была оголять его словами, рассказами. Она смирялась с ним. И смирялась со своими мечтами, которые теперь имели только лишь его образ.

Однажды она его лайкнула нечаянно. Отбирать лайк ей показалось неудобным, поэтому она пошла и подписалась еще. Расписалась в собственном интересе. И через три минуты увидела, что и он подписался в ответ. Уснула она в тот день без грез и несчастливая.

Красный диван – торжество чужой пошлости и дурного вкуса. Олеся подозревала, что эту квартиру он снял, не жил в ней, не обживал, даже полы в ней ни разу не мыл. Она чувствовала, что эта квартира одноразовая, как и она сама. И ошибалась наверняка. Ведь мужчина, которого, кстати, звали Дима (но какая разница, если и Олеся не придавала этому значения), поменял свою небольшую однокомнатную на эту, с красным диваном, двухкомнатную, буквально перед тем, как пригласить Олеся к себе. Он каждый раз курил, думая о том, что эта изящная девочка должна будет иметь личное пространство. У него были планы на нее, и он засыпал, счастливый, с мыслями о том, как эти планы воплотятся в жизнь.

2.

Мечты, как и молчание, помогают смириться с происходящим вокруг. Но они, опять же, как и молчание, создают вокруг человека вакуум, не позволяют жизни кипеть и меняться, менять человека, причинять ему боль или радость. Человек в молчании и мечтах становится жителем другой реальности, другого, идеального для него, измерения, и других людей – настоящих – становится меньше и меньше.

Если бы тогда не светило солнце так ярко, Олеся бы точно разглядела свое предстоящее. Неминуемое. Но она зажмурилась и перебежала дорогу на красный свет, чуть не попав под колеса возмущенно гудящего автобуса. В автобусе было тринадцать мест, на них сидели люди. И еще один стоял, держался за поручни и дышал на окно, оно запотевало, тогда мужчина рисовал пальцем сердечко на стекле. Снова дышал, обводил сердечко, пока не смазал его на резком торможении. Мужчина удержался на ногах, но больно ударился о колено сидящей перед ним девушки.

- От чего вы едете? – спросил он у девушки с острыми и голыми коленями.
- Откуда? – переспросила она.
- От чего.

Она закатила глаза и отвернулась к окну. Мужчина наклонился, подышал на стекло рядом с ней и нарисовал сердечко. Девушка не удержалась и улыбнулась.

Откуда или от чего она едет, не знала. Вроде как из дома, от матери подальше. Каждое утро вставала, стараясь ее не разбудить, и бежала на остановку. Сегодня вот колготки забыла надеть и мерзла сильно. И успела бы вернуться, одеться потеплее, но знала,

что мать уже проснулась от хлопка дверью и завелась наверняка. Мужчина погрузил ее еще глубже в размышления, и девушка совсем расстроилась.

Они вышли на одной остановке и направились в одну сторону.

– Вам тут нравится? – спросил он, имея в виду район, наверное.

Они шли по серой улице – серые дома, асфальт чуть темнее оттенком, лавочки светло-серые, урны тоже, еще и грязные. Вывеска только одна на улице, и та серая. Но солнце светило так ярко, что все это искрилось.

– Нет, мне тут совсем не нравится. – Она поморщилась, имея в виду весь этот мир и свою жизнь вместе с ним.

Они прошли вдоль серого дома вместе, потом оказались во дворе и замедлили шаг у одного подъезда. Девушка с голыми коленками нерешительно глянула на мужчину, он ее немного пугал даже. Мужчина с тревогой смотрел на нее и чувствовал, что пугает ее. «Мне туда», – кивнул он в сторону подъезда. И она кивнула на входную дверь: «Мне тоже туда».

Они поднялись на один этаж. И снова остановились. «Мне туда», – девушка показала на обитую коричневым дверь. «А мне – туда», – он показал на противоположную. И они оба облегченно выдохнули. Девушка позвонила в свою дверь, а мужчина достал ключ от своей, но подождал, пока не откроют противоположную.

- Светланочка! Здравствуйте! – На лестничную клетку пахло тушеной картошкой с мясом.
- Здравствуйте. – Девушка вошла в коридор, и коленкам однозначно стало теплее.

Мужчина вошел в свою квартиру и запер дверь. Минут семь он стоял в прихожей, почему-то не желая заходить, а потом услышал звуки скрипки из квартиры напротив.

Здесь ему нужно было дожить до конца месяца, и сама эта мысль ужасно раздражала. Как и диван красный раздражал, как и розовое белье у окна, которое уже неделю лежало, а он брезговал к нему притронуться. На кухне кофеварка, и он решил, что самое время для кофе. Пока засыпал зерна, пока молот, пока варил, в душ сходил еще, проверил холодильник – час где-то прошел. И вот только налил себе кофе, нарезал колбасы и хлеба, как в дверь позвонили. Он открыл.

- Извините, вы тут живете, да? – спросила девушка с голыми коленками.
- Снимаю, да, – зачем-то обозначил он.
- А тут две комнаты?
- Ну да, две.

ВОЗВРАЩЕНИЕ



ВЛАДИМИР ЧЕРНЯВСКИЙ
Родился в 1974 году
в г. Унмерге Литовской ССР.
Победитель Всероссийского
литературного конкурса
к 110-летию Игнатия Рожде-
ственного, литературного
конкурса к 160-летию со дня
рождения А.П. Чехова,
конкурса «Бумажный слон

№ 12», конкурса «Нубон
Брэдбери — 2020». Рассказы
публиковались в журналах
«Сервер», «Байнал»,
«Аврора», крафтовом журнале
«Рассказы», конкурсных
сборниках «Мю Цефея»,
«Нвазар», в сборниках изда-
тельства «Перисноп».
Живет в Москве.

Лужи мелькали перед капотом, прерывистая разметка слилась в сплошную белую линию. Дорога резко ушла вправо, за холм. Герман сбросил скорость и вывернул руль. На мокром асфальте внедорожник пошел юзом и, накренившись, вылетел на встречную полосу. Гравий с обочины ударил в днище. Герман крутанул руль влево, дал газ. Машина взревела, выровнялась и вернулась на асфальт.

Внедорожник свернул в ближайший карман и остановился. Герман выбрался из салона. Раскурил сигарету, пытаясь унять дрожь в руках. За холмом открылась широкая долина. Сосны зелеными пятнами спускались до едва различимой голубой полоски моря. Едкий табачный дым смешивался с запахом недавнего дождя. Герман залюбовался пейзажем. Мысли успокаивались. Сейчас он сядет за руль и через полчаса окажется в городе, в котором не был почти двадцать лет.

Он обещал себе не думать, как это случится, но воображение несло его к давно забытым улицам и переулкам. Синее без облачка небо, низкие кривые сосны и даже стоящая вокруг тишина теребили старую ткань воспоминаний. Словно прорвало запруду, и Герман оказался посреди бурного и своего нравного потока. Зачем он вчера бросил дела и помчался за тысячу километров туда, где его никто не ждет? Увидел в соцсети некролог со знакомой фамилией и тут же сдернулся с места.

Несмотря на раннее утро, начинало припекать. Из-за горизонта выползло жаркое солнце. Над асфальтом дрожал разогретый воздух, дождевая влага быстро испарялась. Герман вспомнил, что ниже по трассе будет развилка. Там он студентом провел сотни часов, ожидая арендованные КамАЗ и кран, чтобы после развезти бетонные плиты по гаражам и дачам. Худой, с темной от загара кожей и выцветшими волосами, он стоял на пересечении дорог среди колыхания горячего марева. Вдыхал дурманящие запахи перегретого асфальта и расплавленной сосновой смолы, наслаждался знойным покоем. Тогда он, наивный, радовался счастью бытия, словно козленок, впервые выбежавший из загона на луг.

Герман затушил окурок, подождал, пока с языка не уйдет вкус табака, и, прикрыв глаза, сделал глубокий вдох. Запаха смолы не чувствовалось, хотя вдоль обочины плотными рядами тянулся сосняк. Герман поморщился, развернулся и забрался в машину. Мотор взревел, внедорожник рванул вниз по дороге, проскочил перекресток и помчался дальше в сторону моря.

На въезде в город федеральная трасса закончилась. То и дело приходилось объезжать выбоины и неряшливые заплатки. Замелькали нестройные заборы частных домов и крыши с серым шифером и оранжевой черепицей. Справа показалось четырехэтажное здание, облицованное некогда белой,

а сейчас грязно-серой плиткой. Школа, в которой он учился. Вспомнились высокие потолки с лепниной и широкие коридоры с деревянными, крашенными бордовой краской полами.

Проехав школу, Герман свернул на бетонку, идущую в гору. Пропетляв узкими переулками, он остановился у каменной арки, закрытой облезлым деревянным забором. Перед калиткой стояла на треноге доска с неровной надписью мелом: «Аренда комнат посуточно».

Адрес дома Герман нашел еще в дороге, порывшись на местных сайтах. Его полностью устраивала узкая клетушка в восемь квадратов, общие душ и туалет. Главное достоинство конуры – двухметровое окно с видом на город. Герман, как только запер дверь, не разуваясь забрался на подоконник и прильнул к стеклу. Жадно вгляделся в ряды крыш, линии улиц и синее полотно моря со скорлупками кораблей на рейде. Широко улыбнулся. Наконец, спустя столько лет, он вернулся сюда.

Герман разместился, и хозяйка – смуглая татарочка лет тридцати – принесла нехитрый завтрак: глазунью в три яйца, чай и несколько ломтиков бордовой ветчины.

– У нас хороший город. – Она нерешительно протянула поднос с тарелками. – Некоторые на все лето остаются.

Герман заплатил за три дня вперед. Видимо, для хозяйки это было удачей, и она надеялась на продолжение.

– Да, город хороший, – кивнул он и улыбнулся. – Я, может, навсегда сюда переберусь.

Женщина подняла брови.

– Куплю дом. Буду каждый день на море ходить, бизнес открою. – Герман поставил поднос на журнальный столик и наблюдал, как на лице собеседницы недоверие сменяется оптимизмом: клиент оказался перспективным.

– Давайте мы вам дом найдем, – воодушевилась она.

– Спасибо. – Герман взял нож и разрезал желток. – Но сначала мне надо кое-что уладить.

Наспех закинув в желудок яичницу, он вышел за ворота и сел в машину. Доехал до центра города, попутно заметив, как за два десятилетия изменились дома и улицы. Где раньше едва держались старые развалюхи, теперь высилось нечто из стекла и металла. Кривые вековые акации местами сменились аккуратными, будто клонированными, кленами. Но в целом город остался прежним. Герман понял, что рад этому. Каждое встреченное новшество он воспринимал как личную утрату, словно его обокрали.

Из центра Герман добрался до автовокзала, а дальше, минуя вереницы беленых одноэтажных домов, проскочил до старого городского кладбища. Кладбище это, зажатое между болотом и частными кварталами, достигло своих пределов еще лет тридцать назад. Уже тогда начали хоронить в другом месте далеко за чертой города. Здесь же остались только семейные участки – уплотнялись новыми могилами поверх старых.

Он бросил машину на обочине недалеко от кладбищенских ворот, надел темные очки, кепку и, стараясь находиться в тени, прошел за ограду. Солнце палило, полуденный зной накрыл город. Высоко в прозрачном небе острыми крыльями чертили круги стрижи. Герман обрадовался, узнав старые могилы и пересечения извилистых дорожек между оградками. В детстве он часто бывал здесь с родителями и легко нашел бы деда с бабкой и еще каких-то родственников, которыми никогда не интересовался. Но Герман пришел не к ним. Поплутав четверть часа, он наконец увидел тесную толпу, венки и бордовую крышку гроба с черной бахромой.

Плотный ряд высоких надгробий надежно скрывал Германа, зато он хорошо видел происходящее. Сперва люди молчали. Лишь изредка слышались всхлипы и женские слезные причитания. После начались речи. Долетало: «Виктор...», «хороший друг...», «любовь к жизни...», «рано ушел...» Герман жадно вглядывался в лица. Время изменило многих, но он все же узнал тех, кто, казалось, безвозвратно канул на илистое дно памяти. Ил зашевелился, высвобождая все, что в нем спрятано и погребено. Студенческие одногруппники, бывшие партнеры по бизнесу и просто когда-то мельком знакомые люди выпархивали из темноты забвения, словно персонажи старого кинофильма.

Зной раскалил кладбищенский камень и выпарил остатки влаги из пересохшей земли. Воздух застыл вязкой жаркой массой. Пот тек по лицу, волосы под кепкой вымокли, сердце гулко ухало. Траурная церемония заканчивалась. Речи стихли. Толпа раступилась, обнажив обтянутый бордовой материей гроб. В нем лежало тело в черном костюме. Со своего места Герман не мог рассмотреть лица. Видел лишь размытое белое пятно с торчащим заостренным носом. Но Герман знал, кто перед ним, и впервые за много лет смотрел на него, не пряча глаза.

Гроб заколотили и на брезентовых стропах опустили в могилу. Рабочие взялись за лопаты. Яма наполнялась, постепенно на ее месте вырос коричневый земляной горб. Герман, казалось, перестал дышать. Сердце стучало, как после быстрого бега.

Несмотря на жару, накатила волна озноба. Герман словно завис в безвременье и пропустил момент, когда люди двинулись с кладбища.

– Черт! – Он бросился к машине и рванул с места, не проветрив душный перегретый салон.

Внедорожник, поднимая пыль, несся по улицам. Сквозь открытое окно серая взвесь врвалась внутрь машины. Герман давил на газ, пока не запетлял по узким улочкам старого района и не уткнулся в глухой тупик. Только тогда Герман обмяк, закрыл глаза и откинулся на спинку сиденья.

«Ну, вот и все... Свободен...» – прошептал он едва слышно. Ему второй раз за день вспомнился знойный перекресток на въезде в город. Почудились жар нагретого солнцем асфальта, оглушительный стрекот цикад в придорожной траве, дурманящий запах сосновой смолы. Он будто увидел, как из-за пригорка медленно выплывает темно-зеленая кабина КамаЗа. Грузовик беззвучно приближается. Видно, как под тяжестью просели рессоры – кузов доверху заполнен серыми бетонными плитами. Когда до машины остается метров двести, словно на фотобумаге проступают водитель и пассажир. За рулем сидит Гарик – старый армянин с почерневшей морщинистой кожей, рядом с ним – Виктор. На нем белоснежная пижонская майка, козырек красной бейсболки отбрасывает тень на лицо, оставляя на свету только улыбку. Виктор поднимает руку и машет...

Герман тряхнул головой, отгоняя видение. Достал из бардачка цветастую пачку, извлек сигарету, прикурил и жадно затянулся. Табак показался безвкусным. Выбравшись из салона, Герман постоял, наблюдая за кружащими в небе стрижами, затушил окурочек и пешком двинулся в сторону центра. Хотелось пройтись по знакомым улицам, подошвами почувствовать разогретый камень, погрузиться в звуки и запахи, снова стать своим и в себе разбудить забытую любовь к родному городу. Вернуть ампутированную молодость.

Плотная тень акаций, серый ракушечник зданий, желтый булыжник старой мостовой в выбоинах асфальта. Где-то прорвало трубу, и веселый ручеек бежит вдоль бордюра. В детстве Герман гонял по этим улицам на велосипеде, бегал вприпрыжку с ватагой пацанов, гулял ночи напролет. Остался в городе после школы и поступил в приборостроительный институт. Город был словно второй кожей, наполнял легкие, проникал в кровь, задавал ритм сердцу. Но то время безвозвратно прошло.

Герман смахнул пот с лица и огляделся. Ноги привели его к огромной монолитной пятиэтажке с гладкими белыми стенами, большими окнами

в пластиковых стеклопакетах и треугольной крышей с мансардой. Явно элитное жилье, индивидуальный проект. Новострой. Двадцать лет назад на этом месте стоял совсем другой дом – каменный, двухэтажный, щербатый от выбоин, оставшихся еще с войны. В нем Герман провел детство.

Он нашел скамейку возле молодого платана, забился в самую тень, не отводя взгляда от железобетонного монстра, на месте которого память рисовала призрачные старые стены, двор, выложенный неровным плоским камнем, арку с лепниной. Ладони вспомнили холодный изгиб латунной ручки на зеленой деревянной калитке.

Люди неторопливо шли мимо. Их не волновало, что раньше здесь стоял другой дом и текла иная жизнь. Лишь погода осталась прежней. Солнце придвинулось к самым крышам, чтобы дотянуться до каждого закоулка и уничтожить остатки прохлады. Белые стены пятиэтажки, казалось,плыли и отекали. В торце здания открылась дверь, и из нее вышел Виктор. Он надел красную бейсболку и зашагал в сторону скамейки под платаном. Герман сжался и замер, в голове панически застучало: «Ты же умер! Ты же умер!» Человек подошел ближе, повернул в сторону, и стало видно, что это вовсе не Виктор. Даже не похож. Герман обмяк, посидел, ожидая, пока успокоится сердце, поднялся и побрел вдоль улицы.

Только сейчас, всматриваясь в детали, он понял, как сильно на самом деле изменился город. Декоративная цветастая плитка под ногами, крашенные бордюры, пластиковый сайдинг фасадов, новомодные вывески и витрины. Словно любимая девушка нанесла на лицо кичливый макияж. Герману всюду чудилась красная бейсболка. Он то и дело вытягивал шею и оборачивался. Каждый раз ноги слабели и нехорошо крутило вниз живота.

Жара стала невыносимой. Герман окончательно понял, что отвык от здешней погоды. Дойдя до центра, он нырнул в ближайшую рюмочную. Крутые ступени уходили глубоко вниз, в царство прохлады и знакомых сладких запахов. Дубовая барная стойка, зеркала, круглые кресла на длинных ножках и смазливый барменша с пышным хаером. Герман заказал кофе и коньяк, отчаянно хотелось курить, но девушка погрозила пальцем, увидев пачку в его руке. Даже в такой мелочи город предательски изменился.

Герман вспомнил этот подвальчик. Раньше над входом красовалась деревянная вывеска под старину: «Погребок». В эту крысиную нору спускался его дед, а после и отец. Единственное место, где мож-

но было цивилизованно закинуть в себя сто грамм. Герман криво усмехнулся – теперь он продолжатель семейной традиции.

Прошло полчаса. Коньяк жаром расходился по телу, стены едва заметно качались и пульсировали. «Виктор, Виктор...» – билось в висках.

Они познакомились на первом курсе и вскоре стали лучшими друзьями. Выбили общагу, поселились в одной комнате. Там их и накрыли «святые» девяностые. Время перемен, надежд и отчаяния.

Заняться бизнесом предложил Виктор. Он всегда был на шаг впереди. В городе начался строительный бум. Каждый пытался застолбить за собой частную собственность. В спальных районах росли гаражные кооперативы, в пригороде и у моря – «фазенды». Казалось, чего проще – поехал на бетонный завод, закупился, нанял кран и грузовик. Но в реальности люди готовы доплачивать, чтобы кто-то за них все организовал – приехал, замерил, привез и смонтировал. Дело пошло. Ездили по дачам, собирали заявки, после нанимали транспорт и развозили бетонные плиты по стройкам. За полтора года они, как тогда говорилось, «поднялись» – купили на двоих списанный военный КамАЗ и старенький автокран с решетчатой стрелой, трехкомнатную квартиру и иномарку. А потом – «попали на деньги».

Герман заказал еще коньяка и, наплевав на запрет, закурил. Бармену грубо послал подальше. Сизый дым поднимался к потолку, сплетаясь в причудливые фигуры. Казалось, вокруг клубится само время – протяни руку и схвати ускользающее воспоминание. Завод в соседнем городе предложил им партию плит перекрытия – сорок вагонов по бросовой цене.

Посидели, посчитали – за полгода можно все раскидать и получить столько, что хватило бы на десять новых квартир. Но требовался аванс. Через знакомых афганцев вышли на серьезных людей с деньгами. Одолжили под акулый процент, отвезли на завод. Веселый менеджер принял у них нал, оформил договор, квитанции. Провозились с бумагами до вечера. Заночевали. Утром пришли на погрузку – никого. Кабинеты пустые, мебель выпотрошена, нетрезвый сторож мычит, что теперь у завода новый хозяин. Стали искать, требовать – в итоге с кровоподтеками и ссадинами вернулись домой.

Сигарета догорела. Герман потрогал языком бугорок шрама на тыльной стороне губы. Они тогда продали почти все, что у них было, но не закрыли и трети долга, а проценты капали...

Из-за барной стойки появились два молодых амбала, подошли вплотную. Бритые, в одинаковых черных майках, типичная провинциальная братва.

– Выкиньте эту пьянь отсюда! – заверещала за их спинами барменша.

– Слышь, мужик! – процедил тот, что стоял ближе. – Ты рискуешь здоровьем.

Мускулы под его майкой вздулись, по толстому шербатовому лицу расплзлась ухмылка. Герман улыбнулся в ответ.

– Ма-альчик. – Он протянул руку, чтобы потрепать парня по щеке, но промахнулся и едва не упал. – Ты не знаешь, с кем я имел дело.

Пьяно махнул:

– Сво-обо-оден!

Его не стали бить. Просто вытряхнули из карманов наличность, выволокли на улицу и от души швырнули на тротуар.

Заметно стемнело и похолодало, но прогретый за день асфальт еще не успел остыть. Герман прижался щекой к пыльной шершавой поверхности. Двадцать лет назад таким же темным летним вечером он вытащил из сейфа остатки их с Виктором денег, взял общую машину, посадил в нее родителей и уехал в столицу. Он затерялся в мегаполисе, нашел денежную работу, женился, развелся, купил квартиру, потом дом, превратился в другого человека, вычеркнувшего из памяти прежнюю жизнь.

Герман долго не вспоминал родной город и тех, кто в нем остался. Лишь десятилетие спустя столкнулся в метро с одноклассником, приехавшим в командировку. Посидели в кафе. Тот многое рассказал. Выходило, что Виктору пришлось несладко. Бандиты выбивали долг привычными методами. Перестарались, и Виктор с тех пор передвигался в инвалидной коляске.

После той встречи Герман первый раз ушел в недельный запой. Потом взял отпуск, слетал на турецкий курорт, вернулся отдохнувшим и посвежевшим, и жизнь покатила дальше...

Рядом с тротуаром проехала легковушка, обдав вонючим выхлопом, послышались голоса, женский смех. Герман поднялся и, шатаясь, поплелся по темной аллее. Фонари здесь, как и двадцать лет назад, не горели. Он то и дело спотыкался и падал.

Через сотню метров повеяло освежающим морским ароматом. Герман по кривой пересек дорогу и очутился на набережной. Воду он не увидел. За парашютом, сколько хватало глаз, чернел безразмерный провал. Лишь вдалеке тусклыми точками поблескивали огни кораблей на рейде, и над головой изредка кричала невидимая чайка.

Герман перегнулся через перила и долго гляделся, пытаясь рассмотреть хоть слабый отблеск морской поверхности. Колени и ладони саднило. Его

вырвало прямо в черную темноту. Еще раз и еще – до желчи и боли в желудке. Трясло и знобило. Герман сполз на землю, скрючился и замер, боясь пошевелиться. Лишь слабо бормотал: «Только не так... Не здесь...» Голова его медленно опустилась на грудь, и он задремал. Спустя час, вздрогнув, проснулся. Вскочил, слепо озираясь и мыча что-то невнятное. Побежал.

Он не знал, куда несут ноги. Просто механически передвигал ими как можно быстрее, жадно глотая ночной воздух, до боли в глазах всматривался в битый асфальт – лишь бы не упасть и не остаться на этих темных чужих улицах. Когда в конце узкого проулка он заметил металлический отблеск, то понял, что наконец нашел единственное безопасное место в городе. Внедорожник ждал, уткнувшись бампером в стену. Герман забрался в салон, заблокировал двери и провалился в безвременье.

Ливень гулко стучал по крыше. Герману казалось, что он ночует в пристройке во дворе родительского дома и ему снова пять. Сейчас придет мать и разбудит идти в садик. Герман приоткрыл глаза. Вода лилась по лобовому стеклу, пропуская в салон бледно-серый свет. Часы на приборной панели показывали пять утра. Голову сжимала тупая боль. Герман залез в бардачок, нашел таблетки, выпил и замер в сонном оцепенении.

Ливень прошел внезапно. Только что капли стучали по капоту, а через мгновение наступила тишина. Яркий утренний свет бил в глаза. Герман выпрямился, вставил ключ в замок зажигания. Мотор тихо заурчал. Послушная машина сдала назад, развернулась и покатила по переулку.

Город еще спал. Пока внедорожник петлял по улицам, навстречу попадались несколько ранних авто и сонные дворники, сметавшие тротуарную пыль в серые кучки. Наконец показалась федеральная трасса. Герман переключил передачу и выжал газ. Позади остались дома, начался редкий сосновый лес. Перед капотом замелькали лужи, разметка слилась в сплошную белую полосу. Машина с ревом проскочила перекресток и помчалась по дороге вверх, к холму. Герман вцепился в обод руля, в уголке рта тлела забытая сигарета. Герман знал, что больше в этот город никогда не вернется.



ПАТИНА

В полутемной ординаторской Виктор усадил журналистку за стол поближе к масляному радиатору, сам сел напротив. В тот же момент на улице гулко ухнуло. Один раз, второй, третий... После каждого взрыва с потолка мелкими хлопьями летела побелка. Девушка вздрагивала и, вцепившись в лежащую на коленях дорожную сумку, тревожно смотрела на лист фанеры, закрывавший окно комнаты.

Наконец взрывы стихли, и город снова погрузился в морозную ночную тишину. Виктор грустно улыбнулся:

– Не волнуйтесь, Нина. Скоро перестанете обращать внимание. – Он взял со стола чашку с недопитым кофе. – Человек быстро ко всему привыкает. Обстрелы, налеты – все нипочем становится. Дети и в подвалах продолжают играть в обычные игры... Вот вам настоящая тема для статьи, а из-за меня не стоило специально из Москвы приезжать.

Журналистка повернулась к нему и смахнула с глаз каштановую челку. Пальцы у нее дрожали.

– Это вам так кажется, Виктор Николаевич. – Девушка придвинулась к столу. – Люди в Москве не понимают, что здесь творится. Сидят в ресторанах и кафешках, ходят на выставки, сериалы обсуждают. Я хочу написать о том, как меняются приоритеты.

Виктор поставил чашку на стол и краем врачебного халата протер очки:

– Препарировать меня хотите?

– Можно и так сказать, если вас подобная формулировка не коробит. – Девушка посмотрела на Виктора в упор. – Мне дорого обошлось уговорить редактора на эту командировку, и я не отступлюсь.

Виктор надел очки и пристально посмотрел на собеседницу. Голубые с зеленой глаза, маленький аккуратный нос, белая гладкая кожа – что-то в ее лице казалось неуловимо знакомым. Еще год назад он бы, пожалуй, за ней приударил. Но она права: многое изменилось. Виктор обвел взглядом ординаторскую. Заваленные бумагами столы, груда тарелок в раковине, на полу – электрическая плитка и белый эмалированный чайник на ней. В углу – небранная кровать со скомканными простынями.

Чайник на плите забулькал и пустил белую струю пара. Виктор подошел к раковине. Трубы жалобно загудели, когда он открыл кран. Ледяная вода обожгла руки, но Виктор привык. Этой зимой горячей воды ждать не стоит. Он мельком заглянул в осколок зеркала над раковиной – щетина, красные опухшие веки, темные круги под глазами. Надо найти время немного поспать. Вытащил и сполоснул чашку с красным больничным логотипом, насыпал на дно коричневые гранулы дешевого растворимого кофе и залил кипятком. В нос ударил резкий запах женой пластмассы.

Журналистка сидела как прежде – выпрямив спину и положив руки на сумку. Виктор протянул госте чашку. Девушка вышла из оцепенения, улыбнулась одними губами. Взяла кофе, и Виктор случайно коснулся ее пальцев. Холодных, тонких и твердых, словно окаменевших.

Он потянулся и вывернул ручку радиатора на максимум. Покачал головой.

– Нина, мне нравится ваша настойчивость. – Он снова сел за стол. – Вам сколько? Двадцать пять? Она вздернула подбородок:

– Двадцать девять.

Виктор ухмыльнулся:

– А вот мне сорок пять. В двадцать девять я тоже был полон амбиций. Выпустился из харьковского меда и работал здесь, в Горловке, в онкодиспансере. Мечтал стать врачом с мировым именем, дарить людям шанс на новую жизнь... – Он глотнул из своей чашки и поморщился – кофе совсем остыл. – В общем, классический комплекс спасителя. А шел тогда девяносто пятый год, если вы понимаете, о чем я.

– В девяносто пятом мне было только девять. Я мало что понимала, но кое-что помню. Родители тогда ездили челноками в Польшу. Крутились как могли. Мы с сестрой по неделям оставались одни. – Девушка поежилась и обхватила ладонями свою чашку. Над черной кофейной гладью поднимались едва уловимые прозрачные струи пара.

– Вот-вот. А врач особо не покрутится. Онколог – не стоматолог, свою практику не откроешь. Тут либо с пациентов мзду брать, либо по ночам кальмить. Я и грузчиком работал, и бомбил на отцовской «Волге». М-да...

Виктор потер колено, встал и, прихрамывая, сделал круг по комнате. Журналистка открыла сумку, долго в ней рылась, будто не зная, что ищет, и наконец выложила на стол блокнот с белой потрепанной картонной обложкой. Секунду помедлила, глядя в исписанные листы, и начала карандашом делать пометки. Виктор снова подсел к ней. Поморщился:

– Разболелось колено. Видать, на мороз. Осколка уже нет, а боль осталась... На чем мы остановились?

– Вы говорили про ночные подработки.

– А! В том смысле, что люди ко всему привыкают. Я вот врач, но привык подрабатывать разнорабочим. Мои мать и отец до сих пор огородом живут. Держат кур, гусей, козу... Вполне обходятся натуральным хозяйством. Уж два десятка лет.

На улице заурчал мотор. Звук приблизился. Машина подъехала и остановилась под окном. Захло-

пали двери, заскрипел снег, послышались приглушенные голоса.

Гостья снова с тревогой посмотрела на окно. Виктор поспешил ее успокоить:

– Привезли пациента. Дежурный врач разберется. – Он большим глотком допил холодный кофе. – Знаете, Нина, что такое усталость металла?

– Да. – Она кивнула. – Металл сломается, если давить достаточно долго.

– Если и не сломается, то деформируется. Когда у тебя в коридоре нескончаемая очередь и надо успеть всех за смену принять, когда твои пациенты один за другим превращаются в ходячих мертвецов, то, знаете ли, восприятие жизни меняется не в лучшую сторону. Через десяток лет подобной работы чувства притупляются, и человек становится наподобие бронзового истукана – тяжелым и неповоротливым. Все от него отскакивает, и никто не может сдвинуть. Стоит он одиноко в окружении голых деревьев. Нет ни дома, ни жены, ни детей. Ни любви, ни сострадания.

– Вы не были женаты?

– Был шанс, но до женитьбы не дошло. Знаете, как это, когда утром просыпаешься и ничего не хочется? Кое-как встаешь и на автомате едешь на работу. И так проходит день, будто ты и не просыпался вовсе.

– Да, я знаю, – прошептала девушка. – Со мной такое случилось, когда я потеряла сестру-двойняшку. У меня никого никогда не было ближе...

За стеной послышались торопливые шаги, дверь в ординаторскую приоткрылась, и в щель просунулась рыжая вихрастая голова:

– Виктор Николаевич, ранение в брюшину. Мы готовим операцию.

Виктор кивнул:

– Да-да, Сережа, сейчас.

Голова скрылась. Виктор посмотрел на собеседницу. Ее лицо побледнело, на виске выступила синяя пульсирующая жилка.

– Не место вам здесь, Нина.

– Нет-нет, я чувствую, что не зря к вам попала. И что же случилось дальше?

– Да вот, собственно, и вся история. Я еще в две тысячи пятом после оранжевой смуты решил уехать из страны. Начать все с чистого листа где-нибудь в Европе. Почти десять лет копил деньги, наводил мосты. И вот, внезапно война. – Он вздохнул. – Не верилось, что до этого дойдет.

– Вы летом оставались в городе?

– Да. Я тогда уже из онкодиспансера уволился.

Собирался бежать через Ростов, но потом попал под авианалет. Стоял на автобусной остановке рядом с УВД, и только слышу: «Чмак!» В ушах звенит, вокруг люди кричат, женщина с дырой в груди на дороге лежит. Хотел подойти, а нога не идет. Смотрю, вся штанина в крови.

Виктор потер колено.

– Привезли меня сюда, в больницу. Коридоры людьми забиты, персонала не хватает. Осколок кое-как вытащили, заштопали ногу, и пока рана заживала, я начал помогать местным врачам. Не смог просто так смотреть. Я ведь не хирург и даже не терапевт. Пришлось многое вспоминать, на ходу переучиваться. Когда начался штурм города, совсем перебрался в больницу. Тут ад творился. Помню, женщина привезла мертвую дочку лет пяти. Таскала ее по этажам, умоляла спасти...

На потолке моргнула и зажужжала лампа дневного света. Где-то громко хлопнула дверь. Виктор замолчал. Его собеседница снова поежилась, посмотрела в блокнот:

– Что же с Европой, с деньгами?

– Да вот. Все как-то незаметно ушло. – Виктор улыбнулся. – Поначалу здесь даже перевязочного материала не хватало, приходилось самим заказывать в Ростове. Некоторых больных переправляли за свой счет в Москву. – Он сделал паузу. – И знаете что? Вокруг кровь, страдания, а чувствую себя лучше, чем за прошедшие двадцать лет.

Журналистка оторвала взгляд от блокнота. Виктор помотал головой.

– Нет-нет, не подумайте. На многое здесь смотреть без слез невозможно, и очень хочется, чтобы все быстрее закончилось. Но с меня будто сошла патина. Я стал чувствовать себя живым. Каждая спасенная жизнь что-то во мне меняет.

Заиграла бравурная мелодия. Виктор опустил руку в карман халата, вынул мобильник, поднес его к уху:

– Да-да, Сережа, уже иду. – Дал отбой и встал из-за стола. – Извините, Нина. Я пришлю кого-нибудь, чтобы вас устроили на ночь. Утром будет автобус на Донецк. Уезжайте обратно в Москву и возвращайтесь, когда наступят мирные времена. У нас зеленый город, реки и речушки, художественный музей с картинами Рериха.

Он пошел к двери.

– Стойте! – раздался хриплый крик за его спиной.

Виктор обернулся. Журналистка стояла у стола, направив на него массивный пистолет. Раскрытая сумка валялась на полу.

Виктор замер и с удивлением уставился на гостью. Ее лицо было абсолютно белым, на глазах выступили слезы, ствол пистолета ходил ходуном.

– Я вас долго искала, Виктор Николаевич. – Она шмыгнула носом. – Помните Ирину Воробьеву? Она лечилась у вас в две тысячи десятом.

Виктор растерянно покачал головой:

– Нет, Нина, не помню.

– Это моя сестра. В две тысячи восьмом она вышла замуж и уехала сюда, в Горловку. – Девушка переступила с ноги на ногу и подняла пистолет выше, целясь Виктору в голову. – Когда я ее к себе в Москву перевезла, было уже поздно.

– Я не помню... – Виктора замутило.

Лампа на потолке перестала гудеть, шелкнула и засветилась ярче.

– Поверьте, Виктор Николаевич, я хороший журналист. Как думаете, может врач ради переезда в Европу сбывать лекарства на сторону, а больным вводить разбавленную бурду?

Виктор сглотнул, сделал шаг назад:

– Меня ждет пациент.

– Стой! – Девушка придвинулась и зло процедила: – Нашел он себя, людей спасает. А кто за старое ответит?

Виктор опустил голову и хрипло произнес:

– Вот оно как. Выходит, от себя не убежать. – Он снял очки и устало потер пальцами глаза. – Мне очень жаль, Нина.

– Это все, что вы можете сказать?! После всего, что сделали? – По бледным щекам девушки потекли слезы. – Сестра была частью меня...

– Простите, если сможете, – прошептал Виктор.

– Боже! – Лицо девушки скривилось, ее пальцы на пистолете побелели от напряжения. – Я уже три года живу как в тумане. Ты отнял у меня жизнь... – Она громко всхлинула.

Виктор покачал головой:

– Нина, я не могу вернуть вашу сестру. Мне это нести до смерти. – Он развернулся и, сгорбившись, похромал к двери.

За его спиной грохнул выстрел.



ХРОНИКИ ПУТЕШЕСТВИЯ В ЭПОХУ ПАНДЕМИИ



АЛЕНСАНДР ЮДЕЛЬСОН
Родился в 1971 году в Немерове, там же получил высшее историческое образование. После аспирантуры РГГУ осел в Москве, какое-то время работал заместителем денана, а затем с головой

ушел в сферу коммуникаций. объехал на машине пол-Евразии, от Полярного Урала до Пелопоннеса. Пока менялись кабинеты и должности, в столе накопились стихи, некоторые из которых опубликованы, и рассказы. Большая часть творчества

посвящена любимому делу — интеллектуальным путешествиям в стиле магического реализма. От этого захватывающего занятия иногда бывает трудно оторваться, но начальство, трое детей и жена с этим успешно справляются.

В большую темную квартиру на 1-й Тверской-Ямской гости собирались тихо, воровато оглядываясь. К спиритическим путешествиям у новых властей вопросов пока не было, но настроения чекистских начальников так переменчивы.

После холодного и смердящего мочой парадного в натопленную квартиру входили почти как в рай: шумно здоровались, энергично скидывали вещи, почти готовы были целовать хозяйку, но сдерживались, конечно. По Москве гуляло столько бактерий и вирусов, занесенных воинскими эшелонами и мешочниками, что в чувствах надо было проявлять осторожность. Больницы были переполнены больными тифом, испанкой и корью, лекарств не хватало. Дров, кстати, тоже, но в квартире дипломированного медиума было тепло.

- А в Америке, говорят, люди ходят по улицам в марлевых масках и в трамваях в них ездят. Испанки боятся, — объяснила пожилая путешественница, усаживаясь за стол и погружая разутые ноги во влажный теплый песок, насыпанный под столом в специальную емкость.
- И у нас бы ездили, да марли не достать, — вздохнула ее подруга. — А вообще, культурная страна! Я бы хотела как-нибудь там оказаться. Только не в Нью-Йорке. Там негров много, а я их боюсь.
- А чем это вам негры не угодили? — вступил плешистый господин с кавалерийскими усиками. — Те же люди. Не страшнее чекистов.

- Вы что такое говорите, нашли с кем сравнивать, — испуганно зашелестела полная дама в светлой блузке. — Чекисты хотя бы бандитов ловят, а негры кого? Вшей на аркане?

- Чекисты ваши тоже только вшей ловить способны, да еще, может, честных людей, у кого еще совесть осталась.

За столом зашикали и непроизвольно увеличили с плешистым дистанцию. Гармония круглого стола оказалась нарушена.

- Товарищ, заткнитесь уже, кто вас пригласил сюда, честное слово. Если вам нужны неприятности, идите на Лубянку, что здесь-то забыли? Мы приходим к Клавдии Ильиничне отвлекаться от безрадостных будней, опасностей, посмотреть на счастливых людей по ту сторону колючей проволоки, а вы опять тыкаете нас мордой в дерьмо. Ведите себя прилично или проваливайтесь, — авторитетно заявил мужчина в пенсне.
- Хорошо, хорошо, извините. Не будем о неграх, — пробурчал плешистый. — Я ведь не ходил раньше на спиритические сеансы. Почем мне знать, может, это все шарлатанство и сто первый способ отнять копейку у простого народа. Хочу сам проверить, может, и не зря сюда запись на три года вперед. Отвлечься мне тоже хочется.
- Вот и сидите спокойно, недоверчивый вы наш, — подхватила тему женщина в длинном жаккар-

довом френче и шляпке, тоже, видать, из бывших. – Клавдия Ильинична настоящий физик, выпускница Бестужевских курсов! Знаете, кто был ее учителем?

- Кто?
- Попов! Александр Степанович!
- Изобретатель беспроводного телеграфа?
- Вот именно! Они вместе ходили с учителем на кладбище и общались с духами при помощи электричества. Потом эта техника пригодилась и для морского дела.
- И как же они при помощи телеграфа с духами общались? – удивился молчавший до этого худой мужчина в галстуке и длинном плаще, который почему-то не был оставлен на вешалке. – Какой-то странный маршрут для прогулок со студентами.
- А куда, по-вашему, должен был профессор вести студентку, на танцы, что ли? Раньше нравы были не то что сейчас – стакан воды называется... Распутники. Вот и водил ее на научные занятия, в лабораторию свою, на кладбище. Они там железные штыри в могилы втыкали и подавали на них электрический ток с помощью динамо. Да не просто так, а морзянкой. А в сторожке у кладбища за столом сидел друг Попова, Рыбкин, и фиксировал ответные сигналы грозоотметчиком, это прибор такой, его тоже Попов изобрел.
- Значит, оставляли Рыбкина в сторожке, а сами к могилам? Ай, молодцы!
- Тьфу на вас, извращенец.
- Молодой человек, не хочешь – не слушай, а нам не мешай, – сделала замечание пожилая дама. – И что же он там нафиксировал?
- Ну, в основном то же, что и передавал Попов. Собственно, в этом и был эффект беспроводного телеграфа, принесшего ему славу и деньги на покупку имения в Тверской губернии. Там, кстати, Александр Степанович с Клавдией Ильиничной свои опыты продолжили и очень усовершенствовали технику. И кое-что еще узнали, кроме морзянки.
- Да как же они продолжали, когда с Поповым на даче семья жила?
- Ну что вы такой упертый, ей-богу! Исключительно научный интерес, я вас уверяю. Правда, в усовершенствованиях они переусердствовали, кажется, и у Попова случился инсульт. Совсем молодым умер, в полном расцвете сил... Но Клавдия Ильинична дело жизни изобретателя не оставила и применила его на пользу всем жаждущим общения с потусторонними силами, то есть нам.

За столом помолчали.

- А вот и Клавдия Ильинична, здравствуй, голубушка, – с искренним радушием поднялась навстречу хозяйке дома недавняя рассказчица. – А мы тут о твоих опытах вспоминали. Куда сегодня отправимся? Есть уже наметки?
- Здравствуй, Аглая. А куда хотите? – обратилась к гостям женщина-медиум, продолжая приготовления к трансу.

Она поставила на спиртовку серебряную опиумницу с порошком самого тонкого помола, разогрела огонь и проверила влажность песка под столом. Потом разулась и заняла свое место на высоком кожаном стуле с медными подлокотниками.

- Хорошо бы в Китай... – мечтательно прошептала путешественница со стажем. – Я обожаю эту страну! Длинные каналы с лотосами, работающие люди, Фарфоровая башня...
- Фарфоровую башню, к вашему сведению, разломали какие-то повстанцы еще 70 лет назад.
- Очень жаль... Я читала про нее в какой-то старой книжке. Из нее можно было видеть весь Нанкин с окрестностями. А звон колокольчиков, развешанных вокруг каждого этажа, лился над городом, как песня усталого ветра. Но в Китае и без башни хватает чудес! Одна китайская стена чего стоит. Мой муж видел эту стену, когда строил Маньчжурскую дорогу. Где он сейчас, мой Савва...
- Да, в Китай было бы неплохо слетать. И в Америку тоже... А я раньше в Баден любил ездить, видел там Чехова, кстати, – поделился плешивый. – Да где сейчас курорты. Разве что в лагерь принудительных работ назначение выпишут... Замолкаю, замолкаю, – добавил он, почувствовав осуждающие взгляды путешественников.
- Ну, в Китай, так в Китай. Сама давно мечтала. Главное, чтобы электричество не выключили, – сказала Клавдия Ильинична и оценивающе посмотрела на подвешенную над столом лампу. – В последнее время на электростанции Брестского вокзала постоянные перебои. А путь не близкий. Горьковатые пары опиумного порошка уже начали свое незаметное действие, наполняя собравшихся чувством единства и эйфории. Гости возложили руки на стол и стали ждать контакта медиума с духом.

Клавдия Ильинична глубоко задышала, закрыла глаза и подняла руки кверху. Тусклая электрическая лампочка над столом начала тревожно мигать, шелкать и наконец почти погасла. В то же время державшиеся за руки путешественники почувствовали легкое электрическое покалывание в районе

лодыжек, толчки и глухой стук стола. Запах опиума уже не казался таким горьким, всем стало не до него на фоне отчаянных гримас медиума.

Наконец Клавдия Ильинична устало откинулась в кресло и грубым мужским голосом произнесла:

- Он здесь.
- Кто?
- Дух. Из Китая, кажется. Вы можете задать ему вопросы.
- Как звать тебя, дух, – собравшись с мыслями, спросил мужчина в пенсне.

В ответ стол задрожал, электрическое пощипывание ног усилилось, и все явственно услышали стук: звонкий, глухой, глухой, звонкий, потом пауза. Опять два звонких и глухой, пауза, два звонких.

- Пу И, – перевел не снявший плащ мужчина.
- Это китайский император? Но он ведь, кажется, жив! – удивился плешивый. – Или умер уже? Вы ничего не напутали?
- Я был офицером Императорского флота, – гордо ответил плащ, – и морзянку знаю лучше, чем вы родинки у себя на теле!
- Ну, к родинкам я не приглядывался, так что вам не трудно поверить. Но, может, букву какую пропустили...
- Или две... – продолжила мысль пожилая, – ведь стук-то нечеткий. Бог его знает, как там звук от духа на стол идет.
- Нет, точно Пу И, – обиделся офицер, – но, может, не император! В Китае народу – прорва, может, у них людей с именем Пу И – сколько у нас Романовых! Не каждый Романов царь.
- А давайте проверим, – предложила Аглая, – пусть покажет нам Фарфоровую башню!
- Которую снесли?
- Ну да, если это другой Пу И, давно умерший, для него показать башню будет левое дело.
- А если ныне здравствующий?
- Не сможет показать. Или что-то другое сделает, проявит как-то себя. Ну я не знаю.
- Хорошо, – согласился плешивый, поворачиваясь к медиуму, – Пу И, покажи нам Фарфоровую пагоду в Нанкине!

Люди сидели, прислушиваясь к электроразрядам и шорохам, и гадали, как дух справится с заданием.

Рука лежавшей на кресле Клавдии Ильиничны затряслась и потянулась к столу, совершая характерные рыскающие движения.

- Он ищет карандаш и бумагу, – догадалась Аглая, – это же излюбленная техника духов! Все лягутся в руку медиума и рисуют! Сейчас мы все увидим.

Аглая подвинула к руке Клавдии Ильиничны блокнот и карандаш, лежавшие у спиртовки, и подвинулась ближе к медиуму, чтобы лучше видеть рисунок. Дрожащая рука схватила карандаш и, не обращая внимания на лежавшую в трансе хозяйку, принялась быстро-быстро чертить на бумаге. Внимание изумленных граждан предстал образ башни с гладкими стенами и большими окнами. Никаких загнутых по китайской традиции кверху карнизов между этажами не наблюдалось, а вместо колокольчиков вдоль стен были развешаны какие-то панели, наподобие стеклянных парусов. К башне вела грубая лестница из входящего в моду бетона, а вместо изящного шпиля из сложенных друг на друга камней наверху виднелся какой-то столб с набалдашником.

- Ну вот, очевидно же, что дух никогда не видел Фарфоровой башни, – разочарованно сказала потерявшая мужа путешественница. – Она вся была украшена резьбой и арками, окна и двери на каждом этаже обрамлялись белым фарфоровым кирпичом, а широкая лестница к главному входу была низкой и сплошь выложена камнем!
- Так какую же башню нам показывает этот самозванец? – грозно спросил мужчина в пенсне.

Медиум обиженно повернулась на кресле, обратив к собравшимся голые плечи и собранные в пучок волосы.

- Ну зачем вы его обижаете, – постаралась разрядить ситуацию Аглая, – может, он показал нам какую-то другую фарфоровую башню. Может, китайцы ее снова выстроили, только по-другому, современными дешевыми материалами. Так-то похожа, высокая.

Медиум начала потихоньку разворачиваться к столу.

- Не слышал я о таком строительстве, – неуверенно сказал плешивый. – Впрочем, новости до нас из Китая доходят плохо. И у них бардак, и у нас...
- Товарищ, не отвлекайтесь, – перебила его Аглая. – А давайте попросим его показать себя? Фото императора ведь помните. В круглых очках.

Рука Клавдии Ильиничны вновь потянулась к листу, на этот раз не так быстро и уверенно, и стала рисовать какой-то портрет в знакомой собравшимся технике художников РОСТА. На рисунке проявилась мужская фигура с грозным лицом, тянущая указательный палец прямо в зрителя. На заднем плане виднелось странное монументальное здание, напоминавшее одновременно и античный храм, и кремлевскую башню, а под плакатом – то, что это плакат, можно было не сомневаться, – читалась

подпись: «Строители, счет идет на минуты!» Рядом с фигурой мужчины рука медиума зачем-то пририсовала группу людей в медицинских масках и ковш, вероятно, трактора, с лозунгом «Закопаем вирус вместе с короной».

- Интересно, это опиум так действует или наш дух умом тронутый? – спросил офицер флота. – Он наконец снял свой плащ и почти лег на стол, чтобы рассмотреть лицо Пу И. – Он вроде китаец, а пишет по-русски, да еще в новой орфографии. Никаких «ер» и «ять».
- Действительно, – согласился человек в пенсне, – но он может быть и русским. Или самоедом. Сейчас в Москве кого только не встретишь. Идет, скажем, дворник, глаза узкие, лицо круглое, едва успеешь подумать, что китаец, а он на тебя матом! Да без акцента! Знамо, русак, пьет только до одури. Может, наш дух тоже, того, алкоголик.
- А почему он строителями командует? Может, все же император? – с надеждой спросила Аглая.
- А это мы сейчас узнаем! – злорадно протянул плешивый. – Пу И, где ты живешь?

Стол опять затрясло, послышались неуверенные удары, причем капитан так и не смог их перевести в буквы, потом стало тихо, и только огонь спиртовки стал вдруг ярче и ровнее. В синем свете пламени стал проявляться маленький круглый стол с сидевшим за ним полурусским-полукитайцем, который тонкой серебряной трубочкой втягивал в нос рассыпанный на блюде порошок.

- Что это? – испуганно шепнула Аглая, вцепившись в локоть оставшегося без плаща офицера.
- Не знаю. Наверное, наш дух. Давайте попросим его осмотреться.
- Дух начал крутить головой направо и налево, даже посмотрел в окно. Путешественники увидели непривычную золоченую мебель, странную картину на стене, в которой двигались людские фигуры и передвигались футуристические машины, как на экране синематографа, и уходящую к Кремлю широкую улицу.
- Вроде Тверская, но сразу не узнать, – произнес человек в пенсне. – Широкая и гладкая дорога, совсем новые дома, фонари. Ни конки, ни экипажей, одни гладкие, как яйца, машины... Может, это Москва в будущем?
- Час от часу не легче! – взмолился плешивый. – Ну как дух может быть в будущем? Он ведь потому и дух, что тело у него умерло!
- А это что? – кивнула в сторону Пу И Аглая.
- Шарлатанство сплошное, что-то вроде стереоскопа, – уверенно произнес плешивый и ткнул пальцем в Пу И.

Синий огонь спиртовки опалил палец так, что собравшиеся почувствовали запах мяса; плешивый с визгом отдернул руку и попал офицеру в лоб; тот ловко вытащил локоть из хватки Аглаи и со всей мочи заехал обидчику в ухо. Плешивый свалился под стол, попал обожженными пальцами в мокрый песок и тут же получил разряд током.

Некоторым путешественникам это показалось очень забавным, они хохотали и дергали друг друга за пальцы, скатывались под стол в поисках электрических приключений и хватали соседей за мокрые лодыжки; дамы визжали и пытались лягаться; стол ходил ходуном.

Когда все немного успокоились и вытащили из-под стола заплаканного плешивого, спиртовка почти догорела, а медиум сладко спала в своем кресле.

- И что это было? – опять затянула свою песню Аглая. – Может, это опиум виноват? Клавдия ведь говорила, что он у нее особенный, прямо из Индии. Кто его знает, что в него по пути просыпалось...
- Спиртовка загорелась ярче, над столом опять появился мужчина с трубочкой, наклонился к своему блюду и снова исчез. Медиум только всхрапнула.
- Не похоже, – сказал в пенсне и проверил страницы блокнота. Рисунки были на месте. – У меня есть только одно объяснение.
- Какое?
- Это не он дух, а мы.
- Над столом повисло молчание.
- То есть Пу И в будущем вызывает за столом духов и вызвал нас? Всех сразу?
- Да, как-то так.
- Значит, мы умерли? – тихо спросила Аглая и всхлипнула.
- Не плачь, – постарался успокоить ее офицер, – все умрут. Но в нашем случае это не обязательно результат трагедии. Пу И живет в далеком будущем, когда мы состарились и умерли, так что жалеть себя пока рано.
- Так давайте спросим, как при нем изменилась Москва, – предложила путешественница со стажем.
- Хорошая идея! – поддержал ее плешивый. – А как мы это сделаем, раз наш медиум в отключке?
- Знамо как, стуком! – догадался мужчина в пенсне. – Раз духи мы, Пу И наш стук должен услышать.
- Точно! – обрадовался морской офицер и приготовился стучать. – Что спросим?
- Пусть снова покажет себя сначала.

– «Явись!» – отстучал офицер. Звонко-глухо, звонко-глухо, звонко-глухо-глухо, – стучали костяшки. Ноль эффекта. Звонко-глухо, звонко-глухо...

Наконец в свете горелки снова возник Пу И. Он сидел за столом и грустно смотрел свой домашний синематограф, в котором он же, в медицинской маске, стоял среди людей в белых халатах и в таких же масках и что-то объяснял, махая руками, а на полотне мигало слово «самоизоляция».

– Спроси его, – попросила Аглая, – продолжается ли у них испанка?

«У вас эпидемия?» – отстучал офицер.

Лампа над столом заискрила, потом погасла, и ножки стола снова начали подпрыгивать. Офицеру это напомнило землетрясение, которое он как-то пережил в Константинополе. Глухо-звонко-звонко, звонко-глухо.

– Да.

– Что за медицина у нас такая, никак с вирусом справиться не могут! – нахмурилась любительница Китая. – Муж говорил, в Манчжурии вирусы иголками лечат, и помогает!

– Ну, то Китай, древняя цивилизация. А я не люблю уколов. Лучше спиртом лечиться, – сказал в пенсне.

– И всю жизнь ходить в маске... Хорошо, хоть марля у них появилась. Интересно, масок-то на всех хватает? – спросила Аглая.

Офицер быстро отстучал вопрос.

Глухо-звонко, звонко, глухо. «Нет», – донеслось в ответ.

– Странно, – проворчал пострадавший плешивый, – дорогу на Тверской смогли сделать, а марли все так же не хватает.

– У вас что, все еще правят чекисты? – внезапно прокричал он духу.

Путешественники вновь отпрянули от контрреволюционера.

– Он сумасшедший, – слышались голоса. – Нет, ошпаренный! Да отстаньте вы от него!

Стол между тем вздрогнул и опять начал стучать глухо-звонко-звонко, звонко-глухо. Собравшиеся помолчали.

В это время очнулась медиум, посмотрела на шкатулку, в которую давеча сложила собранные с участников деньги, и четко простучала своим пухлым кулачком:

– Ну хоть рубль-то твердый?

Глухо-звонко, звонко, глухо.

– Да что же это такое, не меняется ничего! – вздохнул плешивый. – Та же испанка, те же чекисты, тот же военный коммунизм.

– Зато электричества у них, наверное, много, – решил поддержать попутчика офицер.

Пу И в свете горелки произнес «да», что легко читалось по губам, уронил голову на руки и заплакал. Спиртовка погасла.

Ошарашенные путешественники несмело начали вылезть из-за стола, благодарить Клавдию Ильичну и расходиться в темную, промозглую Москву.

– Почему же он все-таки заплакал, когда сказал про электричество? – неожиданно спросила Аглая.

– Поживем – увидим, – хмуро предположил морской офицер.



| Юность №5
Май 2022

ЗОИЛ

НОВИНКИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ: РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА



ТАТЬЯНА СОЛОВЬЕВА
Литературный критик. Родилась в Москве, окончила Московский педагогический государственный университет. Автор ряда публикаций в толстых литературных журналах о современной российской и зарубежной прозе. Руководила

PR-отделом издательства «Вагриус», работала бренд-менеджером «Редакции Елены Шубиной» и начальником отдела общественных связей «Российской газеты». Старший преподаватель Российского государственного гуманитарного университета.

СЕРГЕЙ ЛЕБЕДЕННО, «(НЕ)СВОБОДА» («РЕДАКЦИЯ ЕЛЕНА ШУБИНОЙ», 2022)

«Процесс» на новый лад. Даже еще более, как бы поточнее выразиться, «процессуальный». Мысль Франца Кафки о том, что человеческая жизнь — судебный процесс в ожидании приговора, возведена Сергеем Лебеденко в абсолют. Почти все действие романа завязано на судебном делопроизводстве: страшные приговоры оглашаются в нем сухим юридическим, канцелярским языком — и это поначалу снижает трагический пафос, но потом накрывает обратным течением, и от этого диссонанса становится вдвое страшней. Все герои «(не)свободы», как понятно из названия, несвободны, но несвободны они, как несчастливы несчастные семьи, по-своему. Кто-то физически — получив обвинительный приговор, а кто-то, формально оставаясь на воле, остается заложником, если не сказать рабом, этой системы в идеологическом или карьерном отношении.

В романе Лебеденко множество рассказчиков, и это создает эффект полифонии, перед нами срез общества, в котором мы живем. «Театральное дело», положенное в основу романа, здесь, вопреки первому впечатлению, лишь отправная точка, микромир, позволяющий экстраполировать ситуацию на общество в целом — иногда, правда, слегка тенденциозно. Впрочем, и время такое.

АЛЕНСЕЙ САЛЬНИКОВ, «ОНКУЛЬТРЕГЕР» («РЕДАКЦИЯ ЕЛЕНА ШУБИНОЙ», 2022)

Что Сальников умеет удивлять, мы поняли еще по «Петровым в гриппе и вокруг него». После столь оглушительной премьеры второй роман разглядывали даже не под лупой — под микроскопом: удержит ли планку. Удержал и на втором, и на третьем. И вот — четвертый, написанный

в жанре городского фэнтези. Роман о небольшом уральском городке, населенном не только людьми, но еще и херувимами, чертями... и онкульттрегерами, которые всех их между собой связывают и хранят тепло в остывающих и замерзающих городах. Херувимы у Сальникова, как им и положено, хорошие, но скучноватые и бледные, черти — озорные и часто весьма обаятельные — как иначе людей-то заманивать? В центре же повествования как раз онкульттрегер Прасковья, меняющая внешность трижды в год и дорожающая только своим «ребенком» — гомункулом. Его нужно спасти во что бы то ни стало, но будет очень трудно: когда замерзают целые города, что за дело до спасения частной жизни?

АЛЕНСЕЙ СЛАПОВСКИЙ, «СТРАЖ ПОРЯДКА» («РЕДАКЦИЯ ЕЛЕНА ШУБИНОЙ», 2022)

Алексей Слаповский написал страшный роман о разрушении личности — постепенном и поначалу почти незаметном, но необратимом. Во многих детektивах интрига строится на том, что форма охранника, курьера или другого специалиста сферы услуг делает человека незаметным. Надев форму, он словно перестает быть личностью и становится функцией. Слаповский переносит этот прием в пространство психологической прозы и заводит читателя в сознание своего героя — охранника торгового центра. Поначалу его фанатичная преданность порядку и соблюдению правил выглядит просто некоторой странностью, но дальше, эпизод за эпизодом, автор не оставляет сомнений и подводит героя к неизбежному финалу. «Страж порядка» — художественная иллюстрация к выражению про тихий омут и чертей — и одновременно вполне прямое напоминание о первой христианской заповеди.

НОВИНКИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ: ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

ДЖОНАТАН ФРАНЗЕН, «ПЕРЕКРЕСТКИ»
(«АСТ: CORPUS», 2022)

Новый роман Джонатана Франзена — всегда долгожданное событие. На этот раз писатель снова не разочаровал своих многочисленных читателей и почитателей, выдав абсолютного Франзена, со всем набором характерных признаков и особенностей большого американского романа о гибели одного семейства.

Семья пастора реформатской церкви Расса Хильдебранта рушится: сам он влюблен в прихожанку Фрэнсис, а его жена Мэрион вспоминает о своей первой любви, которая больше напоминала помешательство. Трое из четверых их детей уже достаточно выросли, чтобы или пуститься во все тяжкие, или по крайней мере начать пробовать на вкус взрослую жизнь. Вечные проблемы, вынесенные автором за пределы современной повести — действие разворачивается в 1970-е годы.

Церковная община, которая, казалось бы, должна объединять и наставлять на путь истинный, на деле провоцирует людей на мысли и поступки не самые праведные. Пересекающиеся судьбы, перекрестные мысли и взгляды — роман о годах расцвета и полноты жизненных сил поколения, ныне почти ушедшего, и их детях, которые уже тоже начинают «уходить». Франзен рассказывает одну из лучших своих историй и крутит кольцо Соломона: и это пройдет.

МИЛЕНА МИТИНО ФЛАШАР, «Я НАЗВАЛ ЕГО ГАЛСТУНОМ»
(«POLYANDRIA NO AGE», 2022)

Хикиномори — затворник, человек, отвергающий социальную жизнь и выбирающий изоляцию. Герой этой повести Тагути Хиро — хикиномори. Из комнаты он начинает выходить только ради прогулок в парке, где

поначалу ни с кем не общается, а потом встречает Охару Тэцу, который потерял работу, но, чтобы не сообщать об этом жене, уходит каждое утро из дома и возвращается вечером.

Книга повествует о событиях, которые уже прошли, — герои расстались навсегда, и Тагути вспоминает своего собеседника. Впрочем, путь до собеседника был весьма небыстр: взгляды, нивки, молчаливые приветствия.

Тагути Хиро — человек, проигравший себя в битве полового воспитания, который не может смириться с переменами в своем теле. Эти изменения и сильное эмоциональное потрясение сделали его затворником. Фраза «Я больше так не могу!» стала его девизом. Охару Тэцу выбрал ложь во спасение: он так боится огорчить свою идеальную жену, что выбирает путь обмана. И становится одиноком в своем обмане именно из-за панического страха одиночества. Черную полосу в его жизни, череду неудач, повлекла одна-единственная ошибка.

Два героя встречаются в парне, чтобы обрести необходимого каждому из них собеседника. Чтобы рассказать ему свою историю и посмотреть на нее со стороны. Оба они под влиянием внешних обстоятельств, по сути, отрекаются от себя, своей сущности, как Нобаяси Танэси, о котором рассказывает Тагути. Подвергнувшись буллингу в школе, он сознательно делает ошибки в родном для себя английском языке, вытесняет его.

Рассказывая друг другу истории, герои проговаривают то, о чем никогда ни с кем не говорили. И это помогает выпустить наружу то, что годами сидело внутри. Благодаря Тагути Охару все-таки решается признаться...

ЯННЕ ТЕЛЛЕР, «НИЧТО» («POLYANDRIA NO AGE», 2022)

«Пьер Антон ушел из школы в тот день, когда понял, что ничего делать не стоит, так как ничто не имеет смысла».

«Ничто» — роман о порой очень жестоким попытках подростков испытать мир на прочность. Пьер Антон, осознав, насколько ничтожна человеческая жизнь с точки зрения вечности, рождает в друзьях желание чего-то добиться, доказать ему, что он не прав, оставить после себя след. Чтобы их жизнь перестала быть НИЧЕМ, они решают собрать Горю Смысла из вещей, важных для них. Каждый предмет в этой горе несет смысловую и эмоциональную нагрузку, он одновременно и денотат (сам предмет), и сигнификат (понятие о предмете), и коннотат (личное впечатление, смысл). То, что начинается почти как игра, постепенно переходит в настоящий — и довольно жуткий — триллер. Теллер создает подчеркнуто-условный мир, в котором у каждого героя четкая социальная роль, они скорее носители функции, чем прописанных характеров.

Показывая марионеточных героев, автор рисует рождение толпы — обезличенной, яростной и жестокой, которая не остановится, пока не увидит жертв.

ДЕЛЬФИНА ДЕ ВИГАН, «ДЕТИ ВСЕГДА ПРАВЫ» («POLYANDRIA NO AGE», 2022)

Брат с сестрой Сэмми и Нимми — герои видеоблога, который ведет их мать Мелани. Миллионы подписчиков следят буквально за каждым их шагом, Мелани делает десятки сторис в день и снимает сюжеты с детьми, монетизируя собственные соцсети и получая огромный доход

от рекламы. На взгляд человека по ту сторону экрана смартфона их жизнь похожа на сказку. Впрочем, ровно до тех пор, пока шестилетняя Нимми не исчезнет.

Это книга об искусственной реальности — реалити-шоу и видео-блогах, которые подменяют собой настоящую жизнь. Прием вовлечения аудитории используется даже в самых бытовых вещах: выход героев реалити-шоу из съемочного павильона, покупка кроссовок для ребенка. Вся жизнь превращается в шоу: «вездесущность экранов; возможность стать не наблюдателем, а объектом наблюдения; желание быть на виду, получить признание, любовь; мысль, что это достижимо всем и каждому. Больше не надо творить, созидать, изобретать, чтобы урвать свои пятнадцать минут славы, — надо всего лишь выставить себя напоказ и оставаться в кадре, перед объективом». Чтобы найти девочку в реальном мире, детективу нужно тщательно изучить законы мира виртуального. И они, вопреки кажущейся легкости и открытости, оказываются весьма жестокими, способными сломать не одну жизнь...

АЛЬБЕРТ САНЧЕС ПИНЬОЛЬ, «ФУНГУС» («АСТ: CORPUS», 2022)

В конце XIX века бездомный пропойца и анархист Хих-Хик живет в пещере в каталонских Пиренеях среди преступных тайных путей контрабандистов. В целом так себе местечко, но зато вокруг живут гигантские антропоморфные грибы — фунгусы. Из них Хих-Хик собирает непобедимую армию — как орудие мести всем недоброжелателям и старым обидчикам, а заодно — как способ установления анархистских принципов в местном сообществе. То есть почти Кропоткин, но для грибов. Грибы, способные в рукопашной схватке один на один победить даже медведя, оказываются универсальными солдатами: «Ему, Хих-Хику, простому городскому дебоширу, досталась безраздельная власть над существом, обладавшим чудовищной силой, и оно слепо ему подчинялось. И тут Хих-Хик наконец понял: именно этого и искал с таким усердием Насиан. Управление покорными и разрушительными силами и есть Власть. Власть!»

Фантазмагория с двойным дном и множеством смыслов, держащая читателя в напряжении до кульминационной сцены сражения фунгусов с французской армией. И даже немного после...

НОВИНКИ ЛИТЕРАТУРЫ НОН-ФИКШЕН

АЛЕНСЕЙ ИВАНОВ, «ХРЕБЕТ РОССИИ»
(«АЛЬПИНА НОН-ФИКШН», 2022)

Книга, которая много лет назад выходила в виде огромного тейблбука и с тех пор не издавалась. Теперь, наконец, вышла версия для чтения — удобного формата, с качественными, но небольшими черно-белыми иллюстрациями. «Хребет России» — это сто очерков об Урале, которые сближают абсолютно реальный хронотоп (географию и историческое время) с литературным гипертенстом. Иванов выражает Урал через четыре категории: Герои, Заводы, Мастера и Матрица. Их взаимодействие формирует уникальную уральскую идентичность: «Чем больше природное своеобразие какого-либо региона, тем своеобразнее история и мировоззрение жителей этого края». Иванов в ста новеллах очерчивает историю промышленного освоения Урала и показывает, насколько архетип Мастера важен для этого региона. Эта книга — ключ к уральской матрице, которая, с одной стороны, типично российская, а с другой — принципиально самобытная. Она фиксирует принципы устройства локальной системы мирового порядка, стратегий поведения, культурно-исторических связей и смыслов Урала. В ближайшее время эта книга приобретет вполне прикладное значение — по ней будет представлен подробный путеводитель по региону.

ВЛАДИМИР БАБНОВ, «ИГРА СЛОВ. ПРАКТИКА
И ИДЕОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА»
(«АСТ: CORPUS», 2022)

Известный переводчик Владимир Бабнов раскрывает секреты художественного перевода, о которые год за годом ломается немало копий. В недавно вышедшей «Ночной смене» Алансей Поляринов говорил

о прокравшемся в перевод романа Стивена Кинга «чучеле мыши» (оназавшемся на самом деле чучелом лося), вспоминается и «Пацифистский океан» у ни в чем не повинного Джареда Даймонда, а у других американских писателей — «виски на скалах» (“on the rocks”) и «часы ненависти» (“hate watch”). За плечами преподавателя Литинститута Бабкова — десятки ХОРОШИХ переводов Анройда, Хансли, Барнса, Маньюэна, Мейлера, Дойла и многих других писателей. В предисловии автор пишет, что «Игра слов» — «не учебник и уж тем более не научная монография. Это попытка описать процесс художественного перевода изнутри, рассказать о том, с какими трудностями встречаются переводчики и как они их преодолевают».

Эта книга — подчеркнуто личный опыт, и тем она и интересна. Человек с огромным профессиональным багажом пускает читателя в свой рабочий кабинет и позволяет тихонечко наблюдать за процессом — и это оказывается очень увлекательно. Этой книгой автор отвечает на вопрос, как переводчику не испортить доставшийся ему материал, если давно известно, что буквальное перевод в художественной литературе невозможно: приходится каждый раз проявлять изобретательность. Именно поэтому хорошему переводчику мало знать иностранный язык — нужно еще быть виртуозом родного.

ПИТЕР ПРИНГЛ, «НИКОЛАЙ ВАВИЛОВ. УЧЕНЫЙ, КОТОРЫЙ ХОТЕЛ НАНОРМИТЬ ВЕСЬ МИР И УМЕР ОТ ГОЛОДА» («АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР», 2022)

История жизни выдающегося ботаника и генетика, который работал над выведением максимально неприхотливых сортов растений, пригодных для культивирования в непригодных для растениеводства регионах на бесплодных землях. Вавилов полагал, что ранние земледельцы были вынуждены селиться на больших высотах из-за высокой конкуренции в низинах. И если бы он оказался прав, в высокогорных районах должны были сохраниться до наших дней генетические сокровища, которые открыли бы новую страницу в растениеводстве. Задача ученому была поставлена на самом верху — и на ее реализацию были отпущены всего три года. Конечно, уложиться в этот срок с серьезными результатами было невозможно, но наказание оказалось неотвратимым: Вавилов был заключен в саратовскую тюрьму, в которой, по горькой и страшной иронии, умер от голода. Страшная смерть ученого, который пытался, но не смог нанормить весь мир.

МАЙКЛ ГАЗЗАНИГА, «СОЗНАНИЕ КАК ИНСТИНКТ. ЗАГАДКИ МОЗГА: ОТКУДА БЕРЕТСЯ ПСИХИКА» («АСТ: CORPUS», 2022)

Известный нейробиолог Майкл Газзанига написал книгу о том, как работает человеческое сознание. В «нормальном» состоянии человек осознает свое прошлое, настоящее и будущее — и на этом основаны наши планы, поведение и целеполагание. Однако в мире существует множество отклонений от нормы, и каждое из этих отклонений сообщает исследователям гораздо больше, чем показал бы анализ нормы. Но перед нами не книга об отклонениях, а попытка ученого разобраться самому и объяснить читателю, как материя создает психику. Приводя аргументы из областей нейробиологии, эволюционной биологии, психологии и физики, ученый

доказывает, что психика — это инстинкт, но инстинкт необычный, присущий только (или почти только) человеку. В итоге рождается целостная картина сознательного опыта. По природе своей мы мыслим хаотично, последовательное мышление — тяжелый высокоинтеллектуальный труд. Газзанига наглядно показывает, как один за другим высвобождаются пузырьки мыслей из нашего нипящего сознания.

КАРЛ ЦИММЕР, «ЖИВОЕ И НЕЖИВОЕ:
В ПОИСКАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЖИЗНИ»
(«АЛЬПИНА НОН-ФИКШН», 2022)

Ответ на вопрос, как отличить живое от неживого, кажется лежащим на поверхности. Однако только на первый взгляд. Уже много столетий даже ведущие ученые не могут провести четкую границу между живым и неживым. Какова природа вирусов, которые совмещают в себе и те и другие признаки? Живое ли яблоко, лежащее в корзине с фруктами? Или, в отличие от яблоки, уже нет? Жив ли эритроцит или другие кровяные тельца?

Особенно трудно приходится ученым, когда, помимо логики, в игру вступает этика: живы или нет половые клетки? С какого момента можно считать живым эмбрион? И как быть с пациентами, находящимися на системах жизнеобеспечения с констатированной смертью мозга. «Живое и неживое» — как всегда блестящая научная, журналистская и философская работа Карла Циммера.

ЭРИК ЛАРСОН, «В САДУ ЧУДОВИЩ»
(«АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР», 2022)

Американский журналист Эрик Ларсон обращается к одному из самых драматичных эпизодов истории Германии — 30-м годам прошлого столетия — от назначения Адольфа Гитлера на пост канцлера до превращения страны в «сад чудовищ». Американский дипломат с семьей оказывается в это время в Берлине на должности посла. Перед его глазами начинают сгущаться тучи. От светских балов, которые посещает его дочь, государство переходит к активной милитаризации и террору. Книга Ларсона основана на официальных документах, дневниках и письмах. На глазах читателя герой Уильям Додд проходит путь от отрицания проблемы и неприятия реальности до осознания масштабов катастрофы и безуспешных попыток предупредить США и весь мир о грозящей опасности.

«В исторических документах всегда можно увидеть поразительные нюансы, тонкости, полутона. В этом и сложность работы над документальной прозой — приходится откладывать в сторону факты, которые известны *сейчас*, и пытаться следовать за двумя обычными людьми по окружавшему их миру, показывая, как они воспринимали его *тогда*» (Эрик Ларсон).

БЫЛОЕ И ДУМЫ

«ГДЕ Я ПИШУ? В ГОСТИНИЦАХ. В ОБЩЕЖИТИЯХ. В БОЛЬНИЦАХ». ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ В 1950–1980-е ГОДЫ

(ГЛАВА ИЗ КНИГИ «ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ ОТ ОТТЕПЕЛИ ДО ПЕРЕСТРОЙКИ», ГОТОВЯЩЕЙСЯ К ВЫПУСКУ В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» В СЕРИИ «ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»)



АЛЕКСАНДР ВАСЬНИН
Лауреат Историко-литературной премии Александра Невского и Горьковской литературной премии, конкурсов «Лучшая книга года» и др., автор публикаций в журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Вопросы литературы» и др.

Советские писатели в обозначенную эпоху обитали в разных городах Советского Союза. В 1970-е годы в Вологде жили Виктор Астафьев и Василий Белов, в Иркутске — Валентин Распутин, в Ленинграде — Даниил Гранин, в Риге — Валентин Пикуль, в Вильнюсе — Эдуардас Межелайтис, в Тбилиси — Нодар Думбадзе, в Гродно — Василь Бынов, в Киеве — Олесь Гончар, а во Фрунзе (ныне Бишкек) — Чингиз Айтматов. Михаил Шолохов по-прежнему жил в своей станице Вешенской. Да, едва не забыли про Мирзо Турсун-заде (таджинский классик, автор строк «Я встретил девушку, полумесяцем бровь») — он был прописан в Душанбе.

И все же, перелистывая толстенный справочник с адресами советских литераторов, приходишь к выводу, что подавляющая их часть стремилась поселиться поближе к центру, в столицах союзных республик, а лучше всего — в Москве и Ленинграде. В результате такого понятного стремления нехватка жилья для литераторов стала хронической — настолько их было много. Ведь они же в основном были людьми семейными (и не раз!) и далеко не бездетными. И потому для них жилье строили и строили, а квартиры все равно оставались дефицитом, что отражало общую ситуацию в стране, когда существовало такое распространенное понятие, как очередь на жилье, в которой порою стояли десятилетиями. Подрастали новые поколения семьи — рождались новые дети, папы и мамы становились дедушками и бабушками, а условия жизни советских людей не менялись. Жилой площади катастрофически не хватало — ее занимали не только диваны и детские кровати, но и книжные шкафы: ведь граждане очень любили читать. К тому же никакой ипотеки, позволяющей купить квартиру в частную собственность в любом городе страны, тогда и быть не могло.

Для того чтобы понять, почему советские писатели так дорожили членством в своем союзе, вспомним, что в СССР квартиры простым

гражданам не продавали, а «давали». Последний глагол указывает на безвозмездность самого акта передачи квартиры нуждающимся, которых было больше, чем самих квартир. И даже строительный бум оттепели, когда по всей стране в процессе расселения коммуналок, как грибы, появились так называемые хрущевки, не решил проблему, а даже наоборот, усугубил ее. Образование новых молодых семей в малогабаритных квартирах вновь вело к увеличению их численности, что вполне можно понять. А попробуйте в такой квартире со сверхтонкими стенами написать «Войну и мир» или на крайний случай пьесу «Премия»...

Александр Солженицын вспоминает о своем посещении квартиры Бориса Можаяева в Рязани в 1962 году: «Через недельку позвал он меня зайти познакомиться с женой, только что женился. Два шага — и мы там. Трехкомнатная квартира вся пуста, свежестроена, как ее закончили, и почти никакой мебели и признана постоянного жилья. Борис Андреевич и Мильда Эмильевна объяснили, что кое-как ютятся в Москве на разных квартирах, не могут получить общей. (Еще спустя время рассказал Б. А., что секретарь рязанского обкома Гришин, желая удержать в области такого писателя, первоклассного знатока сельского хозяйства, дал ему эту квартиру.) Но жить в Рязани им долго не пришлось. Удался Можаяевым в Москве какой-то головоломный квартирный обмен, поселились они в малоустроенном старом доме на Балчуге. Был я раза два у них там в мои короткие навещанья Москвы». Рязань — не Москва, но объединяло эти несоразмерные города и то, что вопрос о квартире писателю мог решить фактически глава города — первый секретарь горкома или обкома. Так было заведено. Можаяев еще долго мог бы стоять «на очереди», если бы ему в виде исключения не дали квартиру. Можно себе представить, насколько долго длилась эта очередь в Рязани, это ведь не столичный город.

Примечательно, что о московском жилье Можаяева Солженицын пишет кратко: «малоустроенное», а все потому, что Александр Исаевич нередко и сам существовал в подобных же условиях. Вероятно, они не слишком его удивили. А вот прозаик (и актер!) Валерий Сергеевич Золотухин рот раскрыл от того, что «увидел своими зеннами»: это превзошло все его ожидания. «Мы сидели на коммунальной кухне, — свидетельствует Золотухин, — среди веревок с пеленками, колясками (у него трое детей). Ничего до потолка газет, банок, склянок, ведер с мусором, книг, холодильника, кухонных всяких нужностей. Это же помещение служит ему, когда он бывает дома, и кабинетом. Когда мы вошли, на одном из столиков среди посуды стояла машинка, лежала чистая бумага на газетах и стило писателя: “Вы извините, ребята, я не могу вас повести в комнаты, там малыши спят, а то разбудим”. Мы прихватили с собой “старну”, Б.А. подал грибков собственного запаса, откупорил банну немецких сосисок, и, выпив, стали разговаривать о жизни, в основном о земле, о крестьянстве, о Кузькине...»

Сидя на кухне, вмиг превратившейся из писательского кабинета в то, чем ей и положено было быть, Борис Андреевич Можаяев поведал гостям о своих мытарствах с повестью «Живой». Повесть эта увидела свет в журнале «Новый мир» (№ 7 за 1966 год) под редакционным заглавием «Из жизни Федора Кузькина». Номер с «Живым» читатели буквально смели с прилавков «Союзпечати», брали только на одну на ночь почитать у подписчиков (тех, кому журналы опускали в почтовые ящики). Живым оказался не только слог автора, но и главный персонаж — не выдуманный,

настрадавшийся в колхозных оковах несчастный российский крестьянин Федор Кузьнин. Критик Юрий Нарянин поставил повесть в один ряд с «Одним днем Ивана Денисовича»: «Кузьнин — родной, единоутробный, кровный брат Ивана Денисовича. И обоим жить навсегда. Сначала казалось открытием, а потом превратилось в суесловие выражение — “Мы — дети Двадцатого съезда”... Для многих из моего поколения, для людей, разбуженных Двадцатым съездом, истинно духовным прозрением были “Один день...” Солженицына и “Живой” Можяева. Вот чьими детьми хотелось бы стать».

Можяев рассказывал, что в ожидании публикации «Живой» лежал в редакционном портфеле полтора года, Твардовский обнадежил его. «Трифоныч просил меня никому не давать читать, даже друзьям... “А то перепечатают, разоидется в списках и для нашего читателя будет потерян... А сколько он пролежит, это пусть вас не беспокоит... Денег мы вам дадим, сколько нужно... и как только в политике просвет отыщем, сразу пустим”. И я, правда, никому не давал читать, никто не знал. Трифоныч просил переделать конец, иначе, говорит, сам бог только поможет, я отказываюсь...»

Бог и в правду помог: журнал с повестью вышел, и Юрий Любимов сразу схватился за нее, задумав инсценировать «комедию» в своем театре на Таганке, что и удалось сделать в 1968 году. Главную роль играл Валерий Золотухин, выходявший на сцену с номером «Нового мира» в руках. Эффект от постановки на какое-то время превзошел значение самой повести. Получился спектакль-манифест. «Живой» еще не был объявлен в репертуаре, а Москва уже бурлила: на Таганке ставится дерзкий, революционный спектакль. На репетициях и черновых прогонах зал был полон. Творческая и научная интеллигенция любой ценой пыталась хоть одним глазком взглянуть на «Живого». Не дремали и партийные чиновники. Посмотрев спектакль, Екатерина Фурцева заявила: «Накая же это комедия, это самая настоящая трагедия!» Досталось и «Новому миру»: «Вы что, думаете, подняли “Новый мир” на березу и хотите далеко с ним ушагать?» Любимов в ответ: «А вы что думаете, с вашим “Октябрем” далеко пойдете?» В марте 1969 года спектакль был исключен из репертуара решением управления культуры исполкома Моссовета. Премьера прошла через два десятка лет — в феврале 1989 года.

А пока Можяев и Золотухин-Кузьнин выпивали на кухоньке писателя, занусывая немецкими колбасными изделиями. Борис Андреевич говорил о том, что из писателей своего поколения очень ценит Солженицына: «Великий писатель... некоторые места в романе написаны с блестящими гениальности». Высокого мнения он был о Василии Белове и «Юрке» Назанове. Но главным для него все же оказался Лев Толстой: «Это бог... надо всеми... Но для меня еще к тому же его философия — моя религия». Золотухину даже стало стыдно: «Он много говорил о Толстом, а кругом летают мухи коммунальные, и от них громадные тени. Вот как живет замечательный русский писатель... Пишет на кухне. А мы... стараемся оборудовать кабинет, устроить жилье, условия то есть для творчества, удобствами вызываем вдохновение... покупаем чернила, бумагу... машинку, весь подобный инвентарь, и только одного не хватает, одного не знаем, где купить талант, страсть...»

В приведенном нами примере повседневной жизни Борис Можяев как советский писатель предстает (пока еще) именно в тех условиях, в которых существовали все остальные граждане. И понятие «писа-

тельская кухня» означает именно то место, где готовят еду. В СССР для того, чтобы дожидаться квартиры в обычной очереди, требовался если уж не талант, то по крайней мере способности (очередь была двух видов: райисполкомовская и ведомственная). Дефицит жилья порождал привилегии, были они и для творческих людей: члены Союза писателей имели право на дополнительные квадратные метры жилой площади.

Привилегия эта появилась еще в 1930-е годы, когда Центральный исполнительный комитет СССР и Совнарком СССР приняли Постановление №1363 от 7 июля 1933 года «Об улучшении жилищных условий писателей». Из него следовало, что для «наиболее плодотворной литературной деятельности» члены Союза советских писателей СССР приравнивались «в отношении жилищных прав к научным работникам». Таким образом, труд советского писателя на государственном уровне приравнивался к деятельности научных работников. А потому литераторы получили право «на дополнительную отдельную комнату для занятия сверх занимаемой ими по общей норме площади, а при отсутствии отдельной комнаты — на дополнительную площадь размером не менее двадцати квадратных метров». А в советское время ведь как было — однажды принятое решение действовало до тех пор, пока его не отменят. И не удивительно, что подзаконные акты той эпохи не утратили своей силы до сегодняшнего дня (но только не в отношении писателей — союз-то их развалился, как и общесоюзный Литфонд).

Двадцать лишних метров для кабинета. Разве плохо? А если в семье два писателя, муж да жена? Тогда умножаем «литературные метры» на два. А само выражение «литературный метр», согласитесь, очень забавно, поменяй в нем одну бунву — и получится совсем иное по смыслу — «литературный мэтр». А уж мэтру в коммуналке жить не пристало...

Правда, прежде чем «добыть» полагающиеся по закону дополнительные «литературные метры», следовало получить основные. Так что здесь не все так безоблачно. У писателей была своя ведомственная очередь, как и у работников больших предприятий, заводов или фабрик. Ибо Союз писателей, по сути, можно считать той же самой фабрикой, воспроизводящей своих членов и их продукцию. А потому он и давал им квартиры, располагая огромными (но не безбрежными) литфондовскими ресурсами. Так же, как и какой-нибудь крупный завод (например, в бозе почивший ЗИЛ), Литфонд мог вполне себе это позволить. И получение долгожданной квартиры в обозримом будущем оказывало серьезное влияние на их поведение, особенно если дело касалось подписания очередного гневного письма «общественности» против всякого рода «литературных сорняков». Это был своего рода рычаг воздействия, принуждавший к конформизму и соглашательству.

Не зря Михаил Рошин вложил в уста одного из героев пьесы «Старый Новый год» — говорливого тестя — следующую фразу: «Ты хоть маленький, а начальник, все у тебя есть. Внупе... В местном». Такая общественная организация, как местком, могла сказать свое веское слово при распределении квартир во вновь построенном доме. Ному давать квартиру — молодому и талантливому, в котором нуждается литературное издание, или уже опытному сотруднику? Например, в комфортабельном доме № 16 в Безбожном (ныне Протопоповском переулке) жили самые разные люди. Это тот самый дом, который еще до переименования увековечил Булат Онуджав:

*Я выселен с Арбата, арбатский эмигрант.
В Безбожном переулке хиреет мой талант.
Кругом чужие лица, враждебные места.
Хоть сауна напротив, да фауна не та...*

Про кого это автор написал — «чужие лица»? Уж не про заселившееся ли в соседние дома начальство? У Оруджавы со всяким начальством проблем было немало, не зря же Госпремию СССР ему дали лишь в 1991 году. А сауна — это, конечно, знаменитые Астраханские бани.

Соседом Булата Оруджавы был Олег Волков, писатель-долгожитель. Из прожитых девяносто шести лет более четверти вена он провел за решеткой. Родился в 1900-м, при Николае II, скончался в 1996-м, при Борисе (первом или все-таки втором? Смотря как считать). Жизнь Олега Васильевича Волкова — это тоже «наша с тобой биография», причем типичная. После возвращения из ГУЛАГа в 1957 году его приняли в Союз писателей. Вдова писателя Маргарита Сергеевна вспоминала: «Мы вселились сюда чуть ли не первыми, и нам поспешили установить телефон. Но — с номером, который до того принадлежал вендиспансеру! Нам еще долго звонили его взволнованные пациенты... По тем временам — а это были 70-е годы — дом наш считался “элитным”: многоэтажный, кирпичный. Вокры народ еще ютился в крошечных деревянных домиках. Помню, как возле нашего подъезда бродил один дяденька, пинал ногой стоящие возле дома машины и злобно говорил, что нас всех скоро возьмут под ноготь». «Взять под ноготь» — это хороший штрих, изобразительный...

В этой квартире в Безбожном переулке Олег Волков сочинял и главную свою книгу, автобиографическую — «Погружение во тьму», впервые изданную во Франции в 1987 году. «Папа не надеялся, — рассказывает дочь писателя, Ольга Олеговна, — что это напечатают у нас. Да, он всегда говорил: “Нарфаген должен быть разрушен”, то есть надеялся, что этот строй однажды рухнет, но был уверен, что не при его жизни. Ему важно было написать этот текст как документ, свидетельство, в надежде, что когда-нибудь его все же опубликуют. И вот так получилось, что Булат Оруджава предложил тайно перевезти рукопись “Погружения” во Францию. Папа был в добрососедских отношениях с Оруджавой, и Булат Шалвович был единственным из наших знакомых, кто тогда регулярно ездил за границу. Оруджаву, думаю, таможенники не посмели обыскивать. Но для надежности он, когда ехал в поезде, спрятал рукопись за спинку дивана».

Что было общего между Оруджавой и Волковым, помимо общего почтового адреса? Догадаться нетрудно. Олег Васильевич сам сидел, а у Булата Шалвовича репрессировали родителей: отца расстреляли, а мать отправили в ГУЛАГ. Им было что вспомнить.

В СССР «Погружение во тьму» напечатали только в 1989 году. Получая за свою книгу в 1991 году первую Госпремию России из рук Президента РФ Бориса Ельцина, Волков сказал ему: «Борис Николаевич, вы же Ипатьевский дом в Екатеринбурге разрушили, вам его и восстанавливать». Ничего не ответил Борис Николаевич, только похлопал писателя по плечу. Хорошо еще, что не по голове...

Олег Волков был страстным охотником, ружья хранил дома. Однажды перед Олимпиадой-80 к нему пришли из милиции как к неблагонадежному, отсидевшему срок (и не один) в тюрьме. Подумаешь, что он писатель, ну и что? Вдруг пальнет в товарища Брежнева на церемонии открытия? Все

возможно. «Местный участковый по фамилии не то Норытко, не то Носорылко решил конфисковать эти ружья у бывшего уголовника и потенциального преступника... Милиция пришла с понятными и торжественно удалилась, унося обнаруженное... Это было явное нарушение закона, и за Олега вступился Союз писателей. Вскоре раздался звонок из милиции: “Можете забрать ваши ружья”. “Нет, — сказал им в ответ муж. — Вы взяли, вы извольте и принести”. Принесли, да еще расшаркивались. Олег их абсолютно не боялся, говорил, что еще раз им его не заполучить. Но был сильно возмущен, говорил, что нагэбэшная удавка за ним все тянется», — рассказывает Маргарита Сергеевна Волнова, вдова писателя.

Часто общались по-соседски Булат Окуджава и Анатолий Жигулин, также побывавший на лесоповале. В 1950 году его, студента, приговорили к десяти годам лагерей. Сидел он и на Нолыме. Реабилитирован в 1956 году. Большой резонанс в годы перестройки вызвала публикация автобиографической повести Жигулина «Черные камни», над которой автор работал в том числе и в этом доме. 6 августа 1980 года писатель отметил в дневнике: «Неожиданно позвонил Булат. Он вернулся из Контебеля, хотел узнать новости. А какие я знаю новости?.. Булат переживает смерть В. Высоцкого. Хотел, дескать, написать стихи на его смерть, но “лезет всякая банальщина”. Спросил, работаю ли я, пишется ли. Я сказал, что написал несколько стихов, могу прочесть одно». А вот запись от 21 сентября 1980 года: «Звонил Булат. Хочет, чтобы я дал ему текст стихотворения “Из больничной тетради”. Буду, говорит, пропагандировать. Очень ему понравилось стихотворение».

А 10 апреля 1981 года Булат Шалвович пригласил соседа зайти за билетами на свой творческий вечер и подарил в итоге и книгу с пластинкой. Говорили они в тот день о Науме Норжавине, само собой, не по телефону. Норжавин к тому времени уже жил в Америке. 25 сентября 1983 года Окуджава предложил Жигулину помощь — дал почитать запрещенную литературу. Анатолий Владимирович задумал стихи о гражданской войне, хорошим подспорьем ему послужили эти книги: «Здесь мемуары Родзянко, Милюкова, Черенского, Шульгина, Деникина, Краснова, всех не перечислить. Книжки эти чудовищно редкие. И конечно, их можно почитать лишь в Ленинке или в Гос. исторической библиотеке в закрытых фондах» (из дневника от 25 сентября 1983 года). Надо ли говорить о том, что сам фант передачи друг другу антисоветской литературы демонстрировал полное доверие и единомыслие соседей-писателей.

В Безбожный переулок переехал и не член Союза писателей Владимир Богомолов. Но каким же образом несговорчивый литератор смог прописаться в столь «враждебных местах»? Сперва жил он неподалеку от Белорусского вокзала. «Хрохотная комнатка, кухня — пять метров. Последний этаж, что-то вроде антресолей. Друзья, коллеги брали его за горло: “Ну напиши ты Промыслову заявление на квартиру”. Промыслов — председатель Мосгорисполкома, личность всемогущая. “Ну напиши, он от твоего романа в восторге”. Промыслов прочитал заявление Богомолова и был сражен: “И это он такой роман в однокомнатной квартире написал?” Владимир Осипович получил квартиру, в прихожей которой можно было устраивать мотогонки», — повествует Эдвин Поляновский, журналист-известинец, хорошо знавший писателя.

Любопытно, что Владимир Осипович всячески демонстрировал свою независимость и не только от Союза писателей. Лазарь Лазарев, также заходивший в его прежнюю маленькую квартиру на Большой Грузин-

ской, удивлялся: «Там я впервые услышал его “программное” заявление... “Я от них отделился”, — говорил он о властях, о государстве. Плачу взносы в “Красный Крест”, вот и вся моя связь с ними — они мне не нужны. Это по тем временам было вызывающее самоопределение, мало кто мог себе такое позволить, так заявлять о своей автономности, независимости. Это привлекало к нему людей — им восхищались. Хотя со временем он стал любоваться своей независимостью, гордиться ею». Независимость — это, конечно, хорошо, но жизнь-то продолжается.

А в Безбожном переулке Владимир Осипович Богомолов сперва поселился в доме № 14, а затем в доме № 6, по соседству с председателем правления Госбанка СССР. Но квартира, по которой можно было кататься на велосипеде, Богомолову пришлось не по нраву, как объяснил он Лазареву, «вид из окна был не тот, мешал работать». Ну что же, причина понятная, особенно для советского писателя. И тогда Владимир Осипович получил квартиру в другом доме, тоже хорошем. «Началась эпопея ремонта и приведения квартиры в тот образцовый порядок, который он считал необходимым, единственно возможным. Во все мелочи вникал. Несколько месяцев... одна из комнат в его новой квартире представляла собой ремонтную подсобку. Я тогда говорил ему (он любил слова и фразы-формулы), что главным его словом стало “заподлицо”, — рассказывал Лазарь Лазарев, добавляя: — При входе в этот столь респектабельный дом на него, стараясь отобрать сумку, напал грабитель и нанес ему несколько ран...»

Каждый писатель мог бы написать свою квартирную историю или рассказать о том, как помог другому. Анатолия Алексина как-то утром в половине седьмого утра разбудил телефон: звонил ответственный секретарь одной из газет: «Анатолий Георгиевич, простите, что я спозаранку... Вы понимаете, мой сын Сережа поступает в один технический институт. Но в том институте есть особый факультет, где на одно место десять претендентов. Сережа хочет именно туда. Я прошу... умоляю вас: поговорите с ректором!»

Но при чем здесь писатель Анатолий Алексин? Он ведь не физик, а больше лирик. Звонящий пояснил: «Я уже выяснил: ректор вас любит! Если бы вы сегодня смогли к нему съездить!» Анатолий Георгиевич, судя по всему, отказывать не умел. И в 9:00 он был у ректора — бодрого старичка, членкора Академии наук, известного ученого. Алексин в глаза не видел этого самородка Сережу, но рекомендовал его за «страстное призвание и недюжинные способности, попросив «приглядеться повнимательнее». Ректор смотрел «все понимающими» глазами и обнадежил: «Приглажусь» — и записал в календаре фамилию абитуриента.

Только Алексин за дверь, как ректор и говорит: «А кстати... Знаете, у меня есть любимый племянник... Сочиняет стихи... И представьте себе, послал он в журнал подборку самых лучших своих стихотворений, а оттуда — ни звука. Ну, ни гугу... Вот если бы вы...» Ну что делать? И Алексин садится в машину и едет в редакцию того самого журнала, где пылится рукопись нового Александра Сергеевича или Михаила Юрьевича. На месте оказался заместитель заведующего отделом поэзии. Он вошел в положение, пообещав опубликовать два-три стиха. Остальные были слабоваты, не достойны, так сказать, высокого уровня всесоюзного журнала.

Только Алексин за дверь, как слышит: «А кстати... У меня к вам огромная просьба! Личного характера... Я давно толкнусь в очереди

на квартиру. И вот наконец предложили... Но на первом этаже. Почему?! Я столько лет состою в Союзе писателей. Много книг. И тут вот ишачу, в редакции. Отбиваюсь от графоманов. Это же "вредное производство"! К тому же я — инвалид». Анатолий Георгиевич вновь садится в те же самые "жигули", за рулем которых сидит папаша Сережи-абитуриента, о нем все уже забыли, и едет в Союз писателей. Ехать надо сейчас, ибо "завтра может быть уже поздно... Вас послала сама судьба!"»

И вот судьба в виде Анатолия Алексина достигла Союза писателей. «Управляющим делами в ту пору — правда, очень недолго — был лихой, изрядно выпивавший нутила немолодого возраста, который со всеми держался запанибрата. Полушепотом всем сообщал, что он генерал в отставке». И со всеми на «ты». Прямо как Михаил Сергеевич или Виктор Степанович. Алексин не называет фамилию чиновника-выпивохи. А разве это имеет значение? Дело-то в системе. Нороче говоря, с трудом отказавшись от коньяка, который был немедля извлечен из несгораемого сейфа, Анатолий Георгиевич сумел внушить хозяину кабинета, что от него хотят. Постепенно оборона пала: «Подумаешь, инвалид! А кто нынче не инвалид? Я, что ли, здоров?. Кто-то же должен и на первом этаже жить!.. Придется пойти навстречу». В итоге подобревший бюрократ набрал телефонный номер и распорядился: «Там у нас что-то есть в записке на третьем этаже... Перебросим туда с первого!»

Только Алексин за дверь, как слышит: «А кстати! Моя дочь учится в музыкальной школе... Я давно хотел к тебе обратиться. Директор школы сказала, что если бы ты провел читательскую конференцию, она бы пригласила районное начальство — и им бы... произвели капитальный ремонт». Алексин согласился. На колу мочало — начинай с начала.

А кончилось все тем, что Сережа поступил, а племянник ректора увидел свои стихи напечатанными в толстом журнале; сотрудник отдела поэзии въехал на третий этаж писательского дома, а музыкальную школу отремонтировали. Нам смешно, но такова была жизнь, по принципу «ты — мне, я — тебе». Даже фильм такой сняли, кинокомедию, с Леонидом Нуравлевым в главной роли банщина, перед которым открывались двери всех кабинетов, даже министерских. Кстати, этот банщин хвалится тем, как после посещения его парилки в Сандунах некий классик, который ранее жаловался, «что ему не пишется», вдруг вдохновляется и создает произведения, «достойные своего гения». Сегодня такой всем помогающий человек зовется решальщиком. А тогда... Анатолий Алексин характеризовал эту систему взаимоотношений так: «"Ты — мне, я — тебе", — это формула, которую уже не отмыть, потому что она олицетворяет собою не беснорыстную взаимоподдержку, а блатнерскую круговую поруку. Или же отношения этаного "взаимоплатежа"».

Анатолий Алексин — один из самых издаваемых в СССР детских писателей, автор многих рассказов, повестей, пьес («Саша и Шура», 1956; «Говорит седьмой этаж», 1959; «Мой брат играет на кларнете», 1968; «Звоните и приезжайте», 1974; «Третий в пятом ряду», 1975; «Поздний ребенок», 1983, и многих других). Жил он в Москве на Красноармейской улице. В начале 1990-х годов покинул Россию, написал мемуары «Перелетывающая годы». Век писателя длился долго — он скончался в Люксембурге в 2017-м, на 93-м году...

Квартирный вопрос испортил не только москвичей, если верить Воланду, но решен так и не был. На что только ни шли граждане, чтобы улучшить жилищные условия. Добрые люди придумали фиктивный брак.

А некоторые вступали в брак исключительно с москвичами, желая обрести вожделенную прописку, что не способствовало прочности новой семьи. В Москве поселиться надолго иногороднему гражданину было наиболее трудно, фантически столица долгое время была закрытым для прописки городом.

Мытарства особенно молодых писателей ярко демонстрирует история с пропиской в Москве Василия Манаровича Шукшина. В 1960 году после защиты диплома во ВГИКе (с оценкой «отлично») Шукшин оказывается в подвешенном состоянии: ехать в Свердловск, куда его распределили работать на местной киностудии, он не хочет. Его цель — работать в Москве, на «Мосфильме». Но для этого нужна московская прописка, которой он не имеет. А без прописки на работу не возьмут, такова была специфика повседневной жизни. Ситуация складывается безвыходная, хоть женись на москвичке. В это же время, в 1961–1962 годах, Василий Манарович активно печатается в консервативном журнале «Октябрь», главный редактор которого Всеволод Ночетов помогает талантливому писателю прописаться в столице, но не за так, конечно.

Даниил Гранин запомнил Ночетова по ленинградской писательской организации: «У нас был первым секретарем Ночетов... Сталинист, догматик. Убеденный хулигатель интеллигенции. Может, зависть способствовала, может, то, что его не допускали в свой круг лучшие писатели города. Ночетов был прославленный, но малоинтересный писатель весьма среднего уровня. Им управляли прежде всего зависть и амбиции. «Писать надо по-простому, — учил он меня, — для народа, для людей, вот как я пишу. Вот я пишу про рабочий класс “Журбины” роман, и все понятно, все ясно. Я помогаю и партии, и правительству, а то, что эта интеллигенция все мудрит, изощряется, кому это нужно, этот Серебряный век, все эти Нрученых-Перекрученых, на хрена они нужны?» Действительно.

Было бы очень красиво, если бы Шукшину сразу дали жилплощадь или товарищ Ночетов прописал бы его в своей квартире на Ломоносовском проспекте, но, видно, у него лишних метров не хватило. А вот у члена редколлегии журнала «Октябрь» Ольги Михайловны Румянцевой такая площадь нашлась. Как вспоминал Василий Белов, «эта благородная женщина на свой страх и риск прописала Шукшина на своей жилплощади». Белов и сам бывал у нее в гостях: «Шукшин ездил ночевать в эту квартиру только в самых отчаянных случаях. Он стеснялся приезжать туда часто. Ольга Михайловна навсегда останется в благодарной памяти шукшинских почитателей. Не в пример многим начальникам, предательски подставившим Манарыча под тяжкий пресс неустроенного быта, она по-матерински принимала даже меня. Ее дочь Ирина и зять художник Юра Бухарин рассказали и показали мне очень многое из того, что мне потребовалось для работы». Юра Бухарин — сын репрессированного Николая Бухарина, также прописанный у Румянцевой. Вот такая интересная связь времен. Да что говорить — сама Румянцева работала секретарем у Ленина...

Подробности столь сложного процесса своей прописки (из которого можно было бы раздуть целую повесть) Шукшин рассказал Винтору Неңрасову во время их встречи в Киеве в 1962 году, отмечали которую за бутылкой доброго вина. Василий Манарович поведал про свою повесть о «жизни деревенской», и что ее «Октябрь» вот берет. Товарищ Ночетов... Он мне уже и прописку в Москве устроил. Под эту повесть». Неңрасов забрал у Шукшина эту повесть и отправил в «Новый мир» Асе Берзер, соратнице Александра Твардовского. «Повесть она прочла, увидела, что

парень кое-что может, но для печати не взяла (кажется, это были «Любовины»), попросила, если есть, принести рассказы. Вася принес. Ася прочла и тут же дала в номер. Так родился писатель Шуншин. А Ночетов, говорят, лютовал, велел отменить прописку, но было уже поздно — в паспорте стоял штамп». Так рассказывал Некрасов. И в декабре 1962 года Шуншин официально стал москвичом «в виде исключения».

Исключение это было основано на «решении органов милиции, согласованное с исполкомом Московского городского Совета депутатов трудящихся», как указывает в своей книге о Шукшине Алексей Варламов. Правила прописки в Москве, и без того суровые, в этот период были ужесточены, а потому понадобилось вмешательство еще и главного милиционера столицы — Николая Трофимовича Сизова, начальника Управления внутренних дел при Исполкоме Моссовета (в 1962–1965 годах). Человек был многогранный — не только партийный работник, но и член Союза писателей СССР, жил на Фрунзенской набережной, между прочим. А с 1971 года пятнадцать лет руководил «Мосфильмом». Интересная карьера: сперва комсомол, потом милиция, наконец, киношники. И это тоже довольно типичный случай для советской эпохи, когда чиновника «бросали» порою на диаметрально противоположные направления. И Шуншин с ним впоследствии встречался не раз.

Ну а как же дальше сложились отношения Василия Макаровича с «Октябрем», благодаря которому он и получил прописку, и с его главным редактором товарищем Ночетовым? Анатолий Гребнев в своих «Записках последнего сценариста» расценивает «разрыв» Шукшина с этим журналом как вполне логичный. «Название журнала звучало как обозначение одной из двух непримиримых партий; партии уже были! Сам Шукшин красочно описывал мне, как он был поначалу пригрет “Октябрем” и даже напечатался там, но вот однажды — сидит у них в редакции, в большой комнате, и видит вдруг: все встают. В чем дело? А это редактор вошел, Ночетов, вот они и повставали. “Ну, думаю, шалишь, — продолжал Шуншин, — чтобы я так вставал? Да ни за что на свете! Пошел потихоньку к двери, да и был таков”».

А первую книгу Василий Макарович издал в «Молодой гвардии». Ветераны издательства вспоминают, каким впервые увидели его — в телогрейке и кирзовых сапогах, с чемоданчиком, из которого он вытряхнул на стол редактора Ирины Гнездиловой свои рассказы. Та была ошарашена. Шуншин попросил: «Посмотрите, что-нибудь может пригодиться!» И ведь пригодилось, вскоре вышла книга «Сельские жители». Шел 1963 год.

Однако не следует думать, что случай с пропиской Шукшина редкий. В этом же самом журнале лет за десять до Шукшина появился другой молодой и многообещающий писатель — Анатолий Рыбаков, которому также посулили квартиру и массу других приятных привилегий и подарков. Только главным редактором там был Федор Панферов, дважды лауреат Сталинской премии, автор романов «Брусни», «Борьба за мир», «Большое искусство» и «Волга-матушка река». Если кто-то из читателей впервые услышал имя этого литератора, то зря: в Москве есть улица Панферова, и висит табличка, из которой следует, что он был «выдающимся советским писателем». Журнал «Октябрь» он возглавлял без малого тридцать лет, до 1960 года. Интересно, что он также поучал Анатолия Рыбакова следовать канонам соцреализма, так сказать, держаться линии партии, ибо «на хрена они все нужны? Все эти Нрученых-Перенрученых...». Обещания свои Панферов выполнил: выбил Рыбакову в Союзе писателей квартиру,

выдвинув его роман «Водители» на Сталинскую премию в 1951 году. Нороче говоря, «сделал из него человека».

Так что в отношениях главных редакторов с многообещающими авторами прослеживается даже некий принцип: молодым литераторам старались помогать в бытовом плане. Но не просто так. Их вставляли в обойму, как патрон, ожидая новых отнюдь не холостых выстрелов. В условиях не пренращавшихся литературных снлок и боев влиятельным писателям ощутимо требовалась и поддержка молодых, которых пестовали, подкармливали, горя желанием зачислить их в свой стан. И ведь выбирали всегда из самых низов (как им это ложно назалось), из «простого народа». Шукшин — из крестьян, Рыбаков — из шоферов. И решение насущного жилищного вопроса было здесь краеугольным камнем. Не все писатели, как Борис Можяев, могли творить на кухне, но и не во всех редакциях давали квартиры и прописку...

А тот самый Николай Сизов помог еще одному литератору — критику Игорю Золотусскому, который трудился в одной газете с Геннадием Красухиным. «Жил он не в Москве, а во Владимире, так сказать, на два дома, уезжая по воскресеньям к жене и двум сыновьям, а остальное время проводя в Москве в комнате, которую снимал, в газете, которая взяла его на работу и бралась через Сырономского (первый зам главного редактора. — *А. В.*) прописать в Москве на площадь строящегося кооператива... Но прописать Золотусского оказалось непросто даже для Сырономского, бывшего помощника первого секретаря Московского горкома Демичева, который вошел в политбюро, пусть не членом, а кандидатом, и был очень влиятельным человеком в Москве», — читаем мы в мемуарах «Тем более, что жизнь короткая такая».

Но выяснилось, что даже для Петра Ниловича Демичева — того, чей портрет носили на демонстрациях, и потому людей его уровня так и называли «портреты», — это оказалось не под силу: «Никто не знал, как все-таки прописать Золотусского в Москве. Оказалось, что для этого никакой Демичев был не нужен. Что гораздо проще иметь дело с замом председателя Моссовета Николаем Сизовым, чья жена — сотрудник музея Горького при Институте мировой литературы — была ответственным редактором и составителем книги «Русские писатели в Москве»». Книга была подана Сырономскому и вручена Виталием Александровичем Золотусскому со словами: «От этого зависит ваше будущее!» «Представляешь, — говорил мне Золотусский, — я ее читаю и вижу: неподлая!» Нороче говоря, Золотусский написал на нее положительную рецензию и получил щедрейший подарок от Сизова — трехкомнатную кооперативную квартиру на окраине Москвы. То есть никто, разумеется, эту квартиру Золотусскому не дарил, он заплатил за нее, но стал полноценным московским жителем».

А ведь Игорь Петрович Золотусский был москвичом по рождению, имея все права жить в Москве, куда более весомые, нежели у других иногородних литераторов. Из родного города его изгнали как сына врага народа. В 1937 году был арестован отец Золотусского. «Это происходило при мне на 2-й Мещанской улице, сейчас улица Щепкина. Нас с матерью выбросили из квартиры, поселили в какой-то угол. В начале войны арестовали мать, меня отвезли в Даниловский монастырь, где тогда был детский приемник ГУЛАГа НКВД. С этого момента во мне начинает нарастать чувство обиды и, не скрою, мести. Когда настелянша походя кинула мне, что мои родители «враги народа», я схватил со стола чернильницу и бросил ей в голову. Если бы попал, то, возможно, убил бы». Игоря Золотусского отпра-

вили «в образцовый мосновский детдом манаренновского типа на станции Барыбино Павелецкой дороги. Директором там был тот человек, который в “Педагогической поэме” назван Карабанным. Незадолго до моего появления его сняли с работы за то, что он жестоко избивал детей. Если ного-то из них ловили на краже овощей с интернатовского огорода, он заводил его в свой кабинет, ставил перед ним ведро огурцов, говорил: “Жри”. Когда ребенок начинал давиться, избивал его ногами», — рассказал Игорь Петрович в интервью в «Российской газете» в 2005 году.

Когда той же весной Игорю Петровичу вручали премию Александра Солженицына, он сказал, что его приход в литературу, в критику связан с трагической судьбой его отца и мстью за него: «Мы трудно жили. И тогда чувство мести переросло во мне в желание нем-то стать, что-то сделать, может быть, даже прославиться. В конце концов это вылилось в то, что я получил серебряную медаль в школе, которую с медалью окончил Владимир Ленин».

Итак, строительная отрасль не поспевала за ростом производительности литературного труда и увеличением численности Союза писателей СССР, обгонявшей темпы жилищного строительства. Вот почему повышенная концентрация писателей в крупных городах в условиях постоянного жилищного кризиса в СССР периодически вызывала серьезную обеспокоенность у тех, кто создавал для них привилегии. В июне 1958 года министр культуры СССР Николай Михайлов докладывал в ЦК: «Сложилось положение, при котором подавляющее большинство литераторов живет в столицах союзных республик. Так, например, в Москве проживает 1300 писателей. В Армянской ССР имеется 195 писателей; почти все они проживают в столице республики Ереване. В Латвийской ССР насчитывается около 90 писателей; подавляющее большинство из них также проживает в столице республики — Риге...» Для укрепления связи писателей с народом министр культуры предлагал отправить наиболее авторитетных из них на стройки коммунизма и целину. Ненадолго, всего на два-три года. И пускай свои произведения литераторы создают непосредственно на заводах и в колхозах, сочетая «творческий труд с работой в том или ином коллективе».

Но затея министра не осуществилась. Периодически этот вопрос все же поднимался вновь, однако уже к началу перестройки от писателей отстали, от них не требовали выезжать на периферию надолго, хотя бы на несколько дней. В своих мемуарах Анатолий Рыбаков воспроизводит стенограмму заседания Политбюро, опубликованную в июне 1996 года в газете «Московские новости» (№23). Заседание состоялось 27 октября 1986 года. Михаил Горбачев говорит: «Если, например, вчитаться в произведения Василя Быкова, особенно в его “Знак беды” — роман, отмеченный Ленинской премией, — то мы увидим, что Быков здесь иногда замахивается и на революцию, и на коллективизацию. А в кинофильме по этому роману кое-кто даже попытался сравнивать коллективизацию с действиями фашистов. Вот почему нам следует активно работать с деятелями искусства, поправлять их, если надо... Надо почаще возить деятелей искусства в колхозы, в совхозы, на производство, так, как это сделали, например, на Ставрополье с коллективом Театра имени Моссовета. Они вернулись из колхоза буквально ошарашенные и окрыленные». Возможно, что ошарашенность, по меткому выражению Михаила Сергеевича, проявилась у артистов и от сравнения жизни в колхозе и в Москве. После чего они с еще большей силой захотели домой...

Была у советских писателей еще одна привилегия, отделяющая их от читателей. Еще с конца 1920-х годов им, наряду с другими деятелями советского искусства, даровали право организовывать жилищные кооперативы. Происходило это в то время, когда основная масса населения жила в коммунальных квартирах, бараках, общежитиях. Первые писательские кооперативы появились в Москве. В частности, в Нащокинском переулке, в проезде Художественного театра. Самый известный в СССР кооператив «Советский писатель» был построен в 1937 году в Лаврушинском переулке (дом №17). Кто здесь только не жил — Валентин Катаев, Вениамин Каверин (после Ленинграда), Юрий Олеся, Лев Ошанин, Михаил Пришвин, Илья Эренбург, Илья Ильф, Виктор Шкловский, Агния Барто, Борис Пастернак, Константин Паустовский...

А в Ленинграде самый знаменитый писательский кооператив и по сей день стоит на канале Грибоедова (дом №9) — к 1935 году старый петербургский дом надстроили двумя этажами, куда и начали заселять литераторов. Здесь в разное время проживали Михаил Зощенко (ныне в его квартире музей), Евгений Шварц, Ольга Форш, Вениамин Каверин, Иван Соколов-Минитов, Юрий Герман, Вера Нетлинская, Борис Житнов, Михаил Слонимский, Виссарион Саянов, Всеволод Шишнов, Всеволод Рождественский, Борис Томашевский, Борис Эйхенбаум и многие другие. Судя по одному прозвищу «писательский недоскроб», квартиры были здесь не ахти какие, но и то хорошо: не коммуналка же (хотя некоторые семьи делили жилье пополам). И потолки низкие, и коридоры неудобные, разве что за вид из окна можно было отдать полцарства: взору писателей представлял не только канал Грибоедова, но и Малая Нонюшенная улица.

В пятьдесят шесть квартир заселилось более шестидесяти семей писателей. В одиннадцати квартирах новоселье совпало с началом ремонта. Жалобы не заставили себя ждать. «Я эту проклятую надстройку не хотел брать. Мы указывали, что она строилась вредительски, например, не предусмотрено место для домработницы и проч.», — разорялся литератор И.В. Хаскин летом 1937 года. А вот еще несколько свидетельств: «Выявлено значительное число писателей, находящихся в скверных жилищных условиях», «Положение с квартирами чрезвычайно скверное...», «О жилищном кризисе. Необходимо принять срочные меры для облегчения тяжелого жилищного положения писателей. Ряд писателей живут в одной комнате с семьей», «А вы знаете, как он живет? В одной комнате сам-четвертый. Дочь играет на рояле, жена разучивает роль, за шкафом домработница готовит суп и тут же Щеглов пишет пьесу», «Тов. Рождественский с женой живет в девятиметровой комнате, а ребенок живет у бабушки».

Но что такое шестьдесят семей для ленинградского отделения Союза писателей? Сущие крохи! Интересно, что когда Бернард Шоу, приехав в 1931 году в Ленинград, спросил, сколько в городе писателей, ему ответили: «По списку двести двадцать четыре». Седобородый англичанин немало удивился. Позже Алексей Толстой уточнил цифру: «Пять». Вероятно, он имел в виду себя, Зощенко, Тынянова, Ахматову и Шварца. Но у них-то были квартиры. А как же остальные? Как остроумно заметил Эдуард Шнейдерман, «и вот в этой казавшейся неразрешимой ситуации перед нуждающимися забрезжила надежда: на помощь в преодолении жилищного кризиса пришел Большой дом». Так в Ленинграде называли местное управление НКВД, по-своему «позаботившееся» о писателях. В квартиры репрессированных заселялись новые жильцы. Арестованы были писатели Николай Заболоцкий, Борис Корнилов, Николай Олейников, Борис Стенич

и многие другие. Таблички «Последнего адреса» здесь есть в память о ком устанавливать.

А в Ниеве был свой писательский кооператив «Робітник літератури» (бывшая улица Ленина, совр. улица Бориса Хмельницкого, №68), среди жителей дома прозванный «Ролит». Судьба его схожа с московским и ленинградским «собратьями». Дом стали заселять с середины 1930-х годов, первый его корпус выстроен в стиле конструктивизма, а второй, 1939 года, — крепкий образец сталинской архитектуры. Квартиры в нем наиболее комфортабельны: есть четырех- и пятикомнатные, площадью почти сто и выше квадратных метров, с помещением для прислуги, для нее же был предназначен и черный ход. Самое главное, что в проекте каждой такой квартиры был предусмотрен и большой кабинет, более двадцати квадратных метров, а для писателя это очень важно. В «Ролите» в разное время проживали почти все известные украинские «письменники» — Олесь Гончар, Александр Корнейчук, Андрей Малышко, Михаил Стельмах, Павел Тычина и многие другие, общим числом до ста тридцати человек. А в мансарде дома обретались художники, первоначально ее планировали под литературное кафе. Среди жильцов дома — также и те, кого репрессировали в 1930-х годах. А мемориальных досок на здании установлено столько, что от них рябит в глазах: почти тридцать (для справки: на доме в Лаврушинском их всего две). В Ниеве вообще любят устанавливать доски — большие, с какой-нибудь изюминкой, иногда это произведение искусства. Да и на увековечение памяти о писателях здесь не скупятся: есть улица Олесь Гончара, установлен ему памятник в 2005 году, охотно ставят памятники и другим украинским писателям XX века. Дом этот и по сей день считается престижным...

После войны строительство писательских домов в СССР продолжилось. Например, в Ленинграде в литфондовском доме на Петроградской стороне, на улице Братьев Васильевых (ныне Малая Посадская), соседствовали Даниил Гранин и Михаил Дудин, Леонид Пантелеев и Вадим Шварц, Сергей Орлов и Евгений Шварц. Евгений Львович переехал в этот дом в 1955 году, вскоре после его постройки (на канале Грибоедова он проживал в малюсенькой квартирке площадью двадцать три квадратных метра). Дом необычный, с круглым фасадом и огромными колоннами, подпирающими третий этаж, в общем, в стиле «сталинский вампир». Шварц с женой поселился на втором этаже, аннурат между колоннами, что вызывало у него ироническую реакцию.

«С 1955 года, — вспоминал критик Александр Дымщиц, — мы жили с Шварцем, что называется, под одной крышей, в новом доме на Петроградской стороне. Евгений Львович и Екатерина Ивановна поселились в небольшой и очень уютной квартире второго этажа. По странной причуде архитектора окна этой квартиры выходили на своего рода площадку, с которой поднимались ввысь массивные колонны. “Живу, как в Афинах, — посмеивался Шварц. — Вы не видели меня утром? В сандалиях, в тоге, со свитком в руках, украшенный лавровым венком, я шествовал между колоннами и спорил с киниками из “Ленфильма”, — имя же им — легион”. Иногда Шварц поднимался ко мне, на четвертый этаж».

А соседом Шварца по этажу стал литературовед Борис Эйхенбаум, из переписки которого мы узнаем и о достоинствах писательской квартиры: «Три комнаты, четыре стеновых шкафа, кухня с окном и мусоропровод (общий со Шварцами, которые будут рядом)». Было и еще одно удобство в доме — литфондовское ателье, где обшивали не только писателей, но

и популярных ленинградских артистов, в том числе с близлежащей киностудии «Ленфильм». Однако Шварцу не суждено было долго пользоваться услугами умелых портных и закройщиков — он скончался в 1958 году. Ныне на здании — мемориальная доска в память о драматурге.

Удостоились памятных досок и другие достойные жильцы дома, последний из них — Даниил Александрович Гранин, проживший почти сто лет. Гранин, доску которому торжественно открыли в феврале 2019 года, был ветераном этого дома, можно сказать, последним советским писателем. В народной памяти он останется не только как автор популярных романов об ученых, книг войне, но и как писатель, воплотивший на деле формулу «В России надо жить долго». Надолго запомнится и его речь в бундестаге в 2014 году, когда 95-летний писатель, стоя, больше часа рассказывал немецким депутатам и членам правительства (во главе с канцлером) о блокаде Ленинграда. Ему предлагали сесть, но он отказывался. Жаль, что подобную речь Даниилу Александровичу не удалось произнести в российском парламенте...

Помимо многих орденов и премий, Даниил Гранин удостоился редкой даже для писателя чести — в 2005 году он стал почетным гражданином Санкт-Петербурга. Уважали его и в те времена, когда город носил имя Ленина, а партийные власти, полагаю, писателя даже побаивались. Первый секретарь обкома горкома КПСС Григорий Романов как-то вручал Гранину орден. «Вручение происходило в Малом зале Смольного. Первым был вызван я. Рукопожатие. Романов нацепил орден. Я произнес: “Спасибо” — и ничего более. “Что, не доволен? — сказал Романов. — Мало дали?” “А я и не просил”, — ответил я, вернулся на место. Следующему вручали художнику А.А. Мыльникову. Тот тоже “Спасибо”, но уже горячо, и прочувствованно преподнес монографию о своем творчестве. Романов повертел ее, нахмурился. “Это на каком языке?” “На английском”, — гордо пояснил Мыльников. Романов с размаха швырнул ее на пол. На обратном пути я не преминул подколол Мыльникова: “На английском! Думал, его потрясет? А он тебе преподавал патриотизм”, — рассказывает Даниил Александрович в книге «Причуды моей памяти».

А вот еще один эпизод, характеризующий отношение власти и искусства: «Романов, заметив Аникушина на каком-то сборище, сказал: “И ты, лысый, здесь”». Михаил Константинович Аникушин — известный советский скульптор, автор многих памятников, в том числе Пушкину и Чехову. «Миша смутился и позже сказал: “Мне бы надо ему ответить: “Я все же старше вас, товарищ Романов”. Не нашелся, — добавляет Гранин и резюмирует: — Папы римские, и те куда почтительней обращались со своими художниками, понимали, что есть они и что есть божий дар». Романов много крови «выпил» у Гранина, когда тот вместе с Алесем Адамовичем создавал «Блокадную книгу». Дело продвигалось с большим скрипом, авторов упрекали в чрезмерном анцентировании на человеческих страданиях и смертях жертв ленинградской блокады.

Фотограф Юрий Рост, побывавший в гостях уже у сильно пожилого Даниила Александровича, заметил в его квартире на бывшей улице Братьев Васильевых, помимо заполненных до отказа шкафов с книгами, еще и свисающие с потолка... гимнастические кольца. Занимательная подробность. Так под кольцами в коридоре он его и сфотографировал. Сегодня в Санкт-Петербурге Гранину стоит памятник. А о нашем времени он написал так: «В советские времена низкий нравственный уровень можно было оправдывать страхами, идеологией, репрессиями. В нынешнем

человеке мы, очевидно, имеем дело с принципиально другим отношением к стыду и совести. Появились новые требования к ним, новые, куда более заниженные уровни стыда и совести, и они считаются нормальными. Вот поголовное бесстыдство чиновников, для которых любые законы определяются степенью взяткоемкости. Вот олигархи, которые захватили народные достояния лесов, недр, земель, жилья и получили миллиарды — за что? Они ничего не изобрели, не открыли ни в науке, ни в экономике, ни в производстве, ничего не дали обществу, тем не менее стали владельцами огромных состояний, в основном по праву захватчиков, «оккупантов». Вот депутаты всех уровней добиваются своих мандатов с помощью пустых обещаний, лжи и обмана. В стране повсеместно воцарились культ денег и воровство. Телевидение на всех каналах заботится не столько о просвещении, не о воспитании, сколько о рекламе, рейтингах ради своих доходов».

А Виктор Конецкий был старожилом другого литфондового дома, на улице Широкой, № 34, на той же Петроградской стороне. Вдова писателя Татьяна Валентиновна Акулова-Конецкая вспоминает, как ее муж говаривал: «Живем — в щели между вождем пролетариата и широкой русской душой». Вождя пролетариата Конецкий называет неслучайно — в советское время улица носила имя Ленина. Заселять дом стали в начале 1960-х годов. «Я часто вспоминаю мужа стоящим у раскрытого окна кабинета — он любил смотреть на наш скверик, — пишет Т. Акулова-Конецкая. — Когда Виктора Викторовича не стало, я прочитала в дневнике запись, сделанную им в 1984 году, за год до нашей с ним встречи: «Мой дом в плане бунва “П”. Внутри “П” малюсенький скверик. В нем растут вдоль верхней палочки какие-то неизвестные мне кусты. Весной они на короткий миг цветут розовыми цветочками величиной с ноготь». А еще во дворе росли березы, одна из них «вытянулась уже выше моего шестого этажа, и я вижу ее в окно прямо с дивана», писал Виктор Конецкий. Березки посадили писатели.

Созерцание прелестного сада с неунывающими русскими березками, не раз вдохновлявшего писателей на создание новых произведений (о чем свидетельствует богатая история отечественной литературы), порою неожиданно прерывалось. К Конецкому захаживал сосед — нет, не писатель, а антер — Олег Даль. Наним же образом Олег Иванович очутился в писательском доме на Широкой улице? Понятно, что за одну только фамилию ему должны были дать здесь квартиру (хотя к составителю «Толнового словаря живого велинорусского языка» антер не имел отношения). Дело в том, что третьей женой Олега Даля была внучка литературоведа Бориса Эйхенбаума Елизавета Агрансина. К тому времени литературовед уже скончался (в 1959 году), Даль жил в квартире с женой и тещей.

Конецкий посвятил Олегу Далю рассказ «Артист», наполненный яркими деталями писательской повседневности: «По прямой между нашими квартирами было метров двадцать: через этаж и лестничную площадку. Эн (Конецкий выписал Даля под псевдонимом. — *А. В.*) только что счастливо женился. Тещу называл Старшая кенгуру, жену — Младшая кенгуру. Ни та ни другая не обижалась, даже радовались, когда он их так называл... Происходил Олег из пригородно-футбольно-хулиганистого сословия послевоенных мальчишек. И в подпитии он старался избегать близких контактов с кенгуру, находя приют у меня. Находил этот приют Олег в полном смысле слова явочным путем. Время года, день недели, время

суток для него существенного значения не имели. Обычно я от души радовался неожиданной явке артиста, ибо выпивка — штука заразительная, и составлял ему компанию».

Однажды сосед позвонил в дверь в половине третьего ночи. «На пороге возник элегантный, пластичный, артистичный Эн». Вскоре за Далем пришли те самые кенгуру, обыскав с разрешения Конецного всю его квартиру, мужа и зятя в одном лице они не обнаружили, убравшись восвояси. Выяснилось, что находчивый Даль спрятался не на балконе (стоял ноябрь на дворе), а в человеческого роста рулоне с морскими картами, в углу спальни.

В этом же доме жила в последние годы и Анна Андреевна Ахматова. «Привезли ордера, все притихли. Сказали, что дадут первыми Шефнеру и Абрамову. Шефнер был как всегда, “как будто сам себя боится”, как будто его и нет. За Абрамова получала [жена] Люся, его, кажется, и не было. Потом стали давать “по чинам”, по алфавиту, по неведомому мне порядку. Вдруг пригласили и меня, за моей спиной возник шепот: “А Ахматова это откуда?”» — так вспоминала искусствовед Ирина Пунина, с которой Ахматова делила свою жилплощадь. Анулова-Конецкая пишет, что «Ахматова с иронией называла писательский дом на Широкой “общезжитием”. Жильцы мерзли много лет, к тому же часто прорывало трубы, и к постоянно ломающимся лифтам пришлось привыкать. Без взаимовыручки в такой ситуации было не обойтись. Семья Медведевых, узнав о том, что Ахматова вернулась после инфаркта из больницы, отказалась от своей очереди на телефон, передав ее Анне Андреевне...».

Что это за очередь такая? К телефонной будке, что ли? Эту книгу читают не только те, кто в подобной очереди простоял годами, но и представители более молодого поколения, не имеющие (и слава богу!) представления, что право позвонить надо еще и вымалывать. Мобильных телефонов тогда еще не было, а имелись только стационарные, с дисками, в которых от чрезмерного набирания номера мог и палец застрять. В СССР был дефицит телефонных номеров, которые распределял обычно начальник городского (или районного) телефонного узла. И потому телефон ждали годами. Родилось даже такое явление, как спаренные телефонные номера (естественно, по просьбам трудящихся), это когда номера два, стоят в разных квартирах, но подключены в одну линию. А у детского поэта Валентина Берестова в его новой квартире в московском районе Беляево вообще никакого номера не было, даже спаренного. Что он только не делал: приносил прошения от Союза писателей, Литфонда, издательства «Детская литература». Не помогало! Нет лишних номеров в районе, говорили Берестову. Тогда Валентин Дмитриевич раздобыл письмо на бланке Дома дружбы с народами зарубежных стран (было такое хлебосольное учреждение в Москве), из которого следовало, что телефон поэту нужен для регулярной связи с Джанни Родари.

Наверное, если бы Берестов предъявил паспорт, в который была бы вклеена фотография самого Чиполлино, которого в 1970-е годы стали путать с Челентано, телефон удалось бы поставить. Но слишком они были не похожи. Георгий Елин в дневнике от 17 марта 1976 года воспроизвел рассказ поэта о его мытарствах: «Чиновники почтительно перебирали рекомендации и в упрощенной для понимания писателя форме объясняли, что при телефонизации всего дома требуется подвести дорогой сорокажильный кабель, а ради одного номера, даже если по нему будет звонить сам господин Чиполлино, столь сложные работы не делаются. Наконец

Берестов дошел до Главного Телефонщина Москвы и тот, всей душой войдя в положение, тоже рассказал про кабель, но заверил: как только его, сорокажильного, протянут — писателя подключат первым. Наложил резолюцию и послал регистрироваться. Рядовая регистраторша в окошечке, приняв отходатая бумагу, осведомилась, не родственник ли он поэту Берестову, на стихах которого все ее дети выросли. А услышав, что это он собственной персоной, изумилась: «Накая вам очереди! Купите телефонный аппарат и завтра будьте дома». Как честный человек, Валентин Дмитриевич предупредил, что к его дому не проложен очень нужный провод, но тетенька в окошке отмахнулась: «слушайте их больше!» И что же? Уже через несколько дней Берестов был готов к звонку Джанни Родари — телефон в его квартире заработал. Вот что значит писать замечательные стихи для детишек.

Анне Андреевне Ахматовой телефон был не менее необходим. Во-первых, по нему можно было вызвать врача из литфондовской поликлиники, расположившейся в западном крыле дома. Во-вторых, заказать такси, на котором доехать до Московского вокзала. Морской инженер Натан Готхарт несколько раз бывал у Ахматовой в гостях. Впервые — 26 октября 1963 года. Готхарт приехал, чтобы помочь Анне Андреевне доехать до вокзала, довести чемоданы. Благодаря ему мы можем представить себе, в каких условиях жила поэтесса: «В комнате Анны Андреевны (это и кабинет, и спальня) против входа стоит деревянная кровать. В изголовье небольшая иконка. Рядом с кроватью шкаф для одежды. В правом углу у окна горка со статуэтками (там стоит и фарфоровая головка — скульптурный портрет Ахматовой работы Данько). Узкий деревянный сундук старинного вида. На стене у кровати висит известный рисунок Модильяни. Книжная полка. Небольшой письменный стол, на нем книги. Анна Андреевна едет в Москву поездом «Красная стрела» в 23:55. До отъезда времени достаточно, такси заказано заранее, и все вещи собраны. У Анны Андреевны перед дорогой тревожное состояние, но она улыбается, когда спрашивает у Ханны Вульфовны: «Ханночка, где моя пудра? Надо же в Москве нос напудрить»».

Упомянутая Ханна Вульфовна — жена младшего брата Ахматовой. В ожидании такси Натан Готхарт с разрешения Ахматовой рассматривает ее книги, среди которых — «Японские трехстишия», «Персидская поэзия» Льва Гумилева — с надписью «Любимой мамочке», книга художника Н. Елисеева с портретом Ахматовой его работы, а еще «Грузинская поэзия» Бориса Пастернака со стихотворным автографом автора...

Ахматова волнуется. Наконец звонит диспетчер: такси скоро будет. «Анна Андреевна надевает теплое пальто с меховым воротником и вязаную шапку». К такси она идет медленно, садится рядом с водителем. Два чемодана — в багажник. Просит других провожающих не ехать с ней на вокзал, дабы избежать лишних переживаний: «Мне профессор сказал: никаких провожаний. Думают, что это игра, а это человеческая жизнь». Запрет ехать на вокзал позже услышал от Ахматовой и Иосиф Бродский.

«У Московского вокзала мы выходим из такси. Анна Андреевна идет очень медленно, часто останавливается, с трудом преодолевает ступеньки одной лестницы, потом другой. В центральном зале, где стоят рядами скамейки, Анна Андреевна говорит, что хочет немного отдохнуть, и садится на скамью. Но в это время появляется железнодорожный служащий и начинает бесцеремонно сгонять всех сидящих. Наверное, в Москву должна ехать какая-то важная птица. Ахматова,

не возмущаясь или не показывая своего возмущения, тяжело поднимается, и мы медленно направляемся к перрону. Вагон СВ, № 6. Отказываясь от помощи, А. А. энергично берется руками за поручни у двери и входит в вагон. Вместе с Томашевской они занимают двухместное купе с нижними местами. Анна Андреевна благодарит, и мы прощаемся». А ведь действительно — чего возмущаться-то, что со скамейки прогоняют: хорошо, что вообще жить дают!

В следующий раз Натан Готхарт побывал у Ахматовой в этом доме 24 января 1965 года. Анна Андреевна выглядит хорошо. «У нее загорелое лицо, энергичный взгляд. Чувствуется приподнятое настроение». Она недавно вернулась из Италии, где ей вручили Международную литературную премию «Этна-Таормина». «На столике стоят высокие, необыкновенной белизны, свечи. На сундуке — книги, альбомы, среди них огромный альбом репродукций картин Пикассо. Все это из Италии». Анна Андреевна рассказала о поездке, посетовав на «неприятные ощущения из-за большой скорости поезда. Затем рассказывает про анкету при оформлении документов на выезд: «И еще один вопрос: девичья фамилия матери? Я говорю: “Ну, — с улыбкой, — посмотрите где-нибудь в архивах”». А вот и атрибуты премии: большая кукла сицилийского рыцаря с мечом и именной экземпляр книги Данте с иллюстрациями Боттичелли. Анна Андреевна уточнила размер премии: «Сколько-то миллионов итальянских лир... И истратить их нужно было в три дня». Присуждение престижной премии свидетельствовало о мировом признании творчества поэтессы. Далее Анна Андреевна рассказывает, что итальянский таможенник попросил ее подписать книгу. «Я сказала, что у меня с собой нет моих книг. Но, оказалось, он уже приготовил».

А затем было еще одно событие — присвоение почетной степени доктора филологии Оксфордского университета, предстояла новая зарубежная поездка. «А вот и весточка из Англии — пришло письмо “оттуда”, где запрашивается мерка на докторскую мантию и шапочку для Ахматовой. Она иронизирует: “Письмо на пути из Оксфорда в Ленинград “где-то” задержалось, “шло очень долго”, а ее могут посчитать невежливой из-за задержки ответа». Задержка писем “из-за бугра” — еще одна повседневная мелочь советской эпохи: письма усердно читали в соответствующем учреждении. Перлюстрация работала безупречно.

А степень доктора Оксфордского университета и правда очень почетна: ее присваивали в разное время очень достойным деятелям мировой культуры и науки. Это как раз та награда, весомость которой подтверждается значимостью ее лауреатов, а еще древностью самого университета, которому более тысячи лет. Тут бесполезно обивать пороги отдела культуры ЦК компартии Великобритании (или как там это у них называлось), дарить свои книги графу Оксфорду (старейший графский титул в системе пэрства Англии). Если захотят дать докторскую мантию — дадут. В XIX веке почетными докторами Оксфордского университета стали Василий Жуковский и Иван Тургенев, а среди советских граждан это Дмитрий Лихачев, Мстислав Ростропович, Лев Ландау, Корней Чуковский, пурпурно-серая мантия которого по сию пору висит в его доме-музее в Переделкине. Она сильно полиняла с 1962 года, но хранит еще следы «почетности». Некоторые старожилы поселка утверждают, что видели Чуковского, прогуливавшегося в ней по улицам: а что здесь такого? Для того мантию и вручили, чтобы ее надевать. «Правда, далось это нам нелегко: пришлось преодолевать многие препятствия, которые в течение

десятилетий мешали объективности наших научных исследований», — огибая острые углы, сказал Корней Иванович в Оксфорде в 1962 году, куда его после долгих сомнений выпустили из СССР. Не менее сложным было и получение разрешения для Ахматовой: сначала ей позволили премию принять, а затем и выехать в Италию. Не отдавать же обратно...

Дом на Широкой улице оказался последним ленинградским адресом Ахматовой, которую хоронили 10 марта 1966 года по описанным нами ранее советским писательским традициям: с милицией, сопровождение которой напоминало то ли конвой, то ли почетный караул. Траурный кортеж, направлявшийся в Номарово, остановился и здесь. Имелась и еще одна причина: надо было забрать надгробный крест, заказанный ранее Алексеем Баталовым в мастерских киностудии «Ленфильм». Как рассказывал он в интервью много лет спустя, «крест из дерева делал специально очень старый человек, который знал это условие (т. е. без единого гвоздя. — *А. В.*). Недавно я очень расстроился, побывав в Ленинграде и увидев, что переделали даже место, где захоронена Анна Андреевна... Тот крест, который с таким невероятным трудом был создан, — такого в нынешнее время уже просто не существует, к сожалению».

А Федор Абрамов до того, как поселиться на Широкой улице, жил в малогабаритной двухкомнатной квартире на Охте, в доме № 66 по Новочеркасскому проспекту. Интересны воспоминания его вдовы Л. В. Крутиновой-Абрамовой: «Никто не знал, в каких мы условиях жили, и никто не предложил ему квартиру в только что отстроенном Писательском доме. Узнав о переселении в новый дом довольно благополучных писателей, Федор явился в Союз писателей с обидой и возмущением. Руководители Союза ему резонно ответили, что он не подавал заявления об улучшении жилищных условий. На что Абрамов возразил, что они могли бы сами поинтересоваться, как он живет. Но все квартиры были распределены. Положение казалось безвыходным. Но тут неожиданно на помощь пришел В. Г. Адмони (известный лингвист и переводчик, в те годы старший научный сотрудник Ленинградского отделения Института языкознания АН СССР). Он уступил Абрамову предназначенную ему квартиру. В Писательском доме мы прожили десять лет».

Как же это хорошо: и много лет спустя узнать, что вокруг Федора Абрамова были такие же, как он, совестливые и порядочные люди. Отказаться от квартиры! На это были способны единицы. Ибо в следующий раз ее могли и не дать. Владимир Григорьевич Адмони-Красный (в иных источниках фамилия употребляется наоборот) — не только признанный мастер перевода и германист, возглавлявший бюро сенции художественного перевода Ленинградского отделения Союза писателей, но и друг Анны Ахматовой. Анна Андреевна хорошо знала и его жену, филолога Тамару Исааковну Сильман, жила у них. Это как раз те люди, которых можно назвать истинно ленинградскими интеллигентами. Адмони после войны защитил диссертацию, стал профессором, но членом Академии наук СССР не был, зато его избрали членом-корреспондентом Геттингенской академии наук, членом-корреспондентом ученого совета Института немецкого языка в Мангейме, почетным доктором философии Упсальского университета, наградили золотой медалью имени Гете и т. д. Иосиф Бродский был ему благодарен — Владимир Адмони на суде в 1964 году выступил в защиту поэта, высоко оценив его творчество. Так что в Союзе писателей СССР были самые разные люди — и порядочные, и подлецов хватало.

А следующим ленинградским адресом Федора Абрамова после Широкой стал дом № 58 на 3-й линии Васильевского острова, где когда-то проживал писатель-натуралист Виталий Бианки. Абрамов поселился в новой квартире путем обмена, как установил его биограф О. Трушин. Это была весьма распространенная форма улучшения жилплощади в СССР, когда можно было поменять квартиру в Ленинграде на жилье в Тбилиси, Ереван на Москву, Ташкент на Львов и т. д. Много лет издавался даже специальный бюллетень по обмену — не менее популярное периодическое издание, чем газета «Неделя»...

Дорогу осилит идущий, а некоторые советские писатели, пропущенные далеко от Москвы, отчаявшись получить жилплощадь, решались на крайние меры, когда сил стоять в очереди на квартиру уже не было. Белорусский литератор и переводчик с немецкого языка Василь Семуха отважился на такое... «Жил он тяжело, квартиры в Минске у него не было, скитался с семьей по частным углам. Многочисленные просьбы, с которыми он обращался к руководству СП насчет квартиры, ни к чему не привели, и Семуха... написал письмо в немецкое посольство в Москве. Дело в том, что во время войны немцы сожгли дом его родителей, и Семуха просил посольство помочь ему издать перевод «Фауста» и поспособствовать в получении квартиры. Письмо, разумеется, было перехвачено КГБ и возвращено в Минск с требованием принять меры». Меры приняли незамедлительно — белорусские писатели исключили Семуху из своих рядов. Почти единогласно — воздержался лишь Василь Быков, рассказавший эту печальную историю в мемуарах «Долгая дорога домой».

Не все писатели решались на столь радикальные поступки. Литераторы, как и другие советские люди, нередко прибегали к более привычным способам улучшения условий своей повседневной жизни, в том числе к обмену квартиры. Тем более что свой вклад в популяризацию обмена внес писатель Юрий Валентинович Трифонов, создавший одну из ярких иллюстраций той эпохи — рассказ с сакраментальным названием «Обмен». Вновь и вновь перечитывая одно из самых известных трифоновских произведений (наряду с «Домом на набережной»), убеждаешься, что каждое банальное «улучшение жилищных условий» в СССР нередко содержало в своей основе человеческую драму, комедию и даже трагедию...

«Переезжая после смерти мужа из своего «модерна» в аэропортовское кооперативное гетто, — вспоминает сценарист Майя Туровская, — я должна была «одной человеческой силой» возвести цинлопический обмен из 11 квартир, протащить его через все чиновничьи Сциллы и Харибды, и, когда эта несвойственная моему непрактичному и негероическому характеру работа была позади, последняя чиновница вдруг отказала в подписи». Получить драгоценную закорючку помог Михаил Александрович Ульянов — народный артист СССР, надевший свой парадный пиджак со всеми регалиями и сам отправившийся по кабинетам. Он делал это часто и безвозмездно, как и его партнерша по театру имени Вахтангова Юлия Константиновна Борисова. В итоге чиновничью закорючку удалось получить.

Хорошо, что в Советском Союзе находились такие бескорыстные люди, готовые «торговать лицом» ради других, порою и не друзей, и не приятелей, и вообще незнакомых граждан. Без них настала бы полная «труба». Это выражение — «торговать лицом» — часто употреблял, например, артист Лев Константинович Дуров, отправлявшийся в гости

и бюрократам выбивать квартиру — но не для себя, конечно, а для других. В Союзе писателей были свои незаменимые носители «знаменитого лица» — с одним из них мы уже встретились, это Анатолий Алексин. Но самым влиятельным в этом смысле человеком был Сергей Владимирович Михалков, который мог выбить для совершенно незнакомых людей не Луну с неба, а более необходимые вещи — жилплощадь, прописку, телефон, путевку, место на престижном кладбище (зачем им Луна, если на Земле жить негде?).

С невероятными трудностями смогла получить жилье в Москве поэтесса Инна Лиснянская. Родилась она в Баку в 1928 году, там же вышел ее первый сборник стихов. А в 1961 году Инна Львовна поступила на двухгодичные Высшие литературные курсы при Литературном институте, получив комнату в студенческом общежитии на улице Руставели. Вскоре к Лиснянской приехали муж с дочкой, но жить с ней пусть даже в отдельной комнате они не имели права: «Через две недели комендант общежития, бывший вохровец, потребовал, чтобы моя семья съехала. Да и в какую школу столицы приняли бы Лену, чьи родители не имеют постоянной московской прописки? Прописка была у меня одной, и то временная. Пришлось на месяц отдать дочь в интернат... и подыскивать что-нибудь в Подмосковье. Место нашлось во Внукове, мы забрали Леночку из интерната, определили во внуковскую школу». Жила семья поэтессы на ее «очень даже приличную стипендию», кроме того, иногда случались «гонорары», а также выступления от Всесоюзного бюро пропаганды художественной литературы «в какой-нибудь дыре, например, в библиотечках при парках».

В это же время на Высших литературных курсах учился и Виктор Астафьев, подтверждающий, что стипендия была большой, он даже подкармливал семью: «Учась на Высших литературных курсах, живя в хороших условиях, бывая в театрах, на концертах... покупая в магазине из продуктов все, чего душа пожелает, я чувствовал себя несколько смущенно, и хотя отправлял посылки с продуктами на Урал, все же угрызения совести терзали меня».

А у Лиснянской семья была рядом. И все было бы неплохо, если бы Инну Львовну не исключили из Союза писателей и не выгнали с курсов за «бытовое разложение», а на самом деле по банальному доносу, за куплеты про Хрущева:

*С миру по нитке
И по свинье, —
Едет Никитка
По стране.
Чешет он пузо,
Морщит он лоб, —
Растет кукуруза
Вокруг хрущоб.*

Да и куплеты эти сочинила не она, а литературовед Арнадий Белиннов. И было это в Доме творчества в Малеевне, правда, при свидетелях. Добрейший души человек, Белиннов записал частушку, подарив ее Лиснянской (в 1968 году он поедет в Венгрию, отсюда уже не вернется).

Затем Лиснянскую все же восстановили в рядах Союза писателей. Но прописки и жилья по-прежнему не было: «Я металась меж друзьями, прося каждого, нельзя ли меня прописать на их жилплощади, так как

министр МВД Тикунов пообещал дать прописку, если кто-нибудь предоставит мне жилплощадь под нее, чтобы я тут же могла вступить в жилищный кооператив. Как назло, тогда в Москве было самое жесткое прописочное ужесточение. Даже моя мама и отчим, переехавшие с разросшейся семьей на Новослободскую, не имели права меня прописать, так как у них не было лишних семи метров, которые требовались в обязательном порядке для прописки пусть и ближайшего родственника. К тому же меня сбил с толку мой тогдашний друг, наивный Юра Левитанский, сказавший, что на кооперативную жилплощадь не прописывают, иначе бы он дал такое разрешение. Он, видно, как и я, не ведал, что в кооперативную квартиру — могут прописать. Поэтому к знакомым писателям, живущим в кооперативных домах, я уже не обращалась. А у остальных не было лишних метров, а у кого были, тех я не знала» (из книги воспоминаний «Хвастунья»).

Семь метров жилой площади, о которых пишет Лиснянская, полагалось каждому советскому человеку. Это была обязательная норма для прописки и основание для того, чтобы встать на очередь. Если в семье из двух человек в квартире жилой площадью в пятнадцать квадратных метров рождался ребенок, возникало право на улучшение жилищных условий. Или вступай в кооператив. По этому пути и отправилась Инна Лиснянская: «Только в начале 65-го — не без помощи хлопот и моей мамы — мне, бакинне... дали разрешение на подмосквовную прописку в каком-нибудь уже готовом или почти готовом кооперативном доме». Такой дом нашелся, хрущевка в Химках. Подвернулась и работа — перевод книги стихов дагестанской поэтессы Фазу Алиевой «Дождь радости», суливший получение приличного гонорара, равного первому взносу за кооператив. Переехав по праву в новый дом, Инна Львовна помогала таким же, как она «бесквартирным» писателям, в частности, прописала у себя поэтессу Светлану Нузнецову, пока та ждала свое кооперативное жилье на Красноармейской улице.

«Благоприятное» решение было принято чиновниками и по поводу обмена Федора Абрамова, который благодаря этому создал еще немало прекрасных произведений. В результате в 1970 году он смог с супругой переехать на Васильевский остров (возникший еще при Петре I — это вам не улица Ленина!) в очень хороший дом, где на третьем этаже и располагалась комфортабельная квартира №7, имеющая не только три комнаты, но и большую кухню. Квартира выходила «всеми окнами на светлую сторону улицы 3-й линии. Федору Александровичу квартира очень понравилась. Под кабинет им была облюбована самая дальняя комната. А в первых двух устроили гостиную и кабинет Людмилы Владимировны. В свою очередь, кабинеты служили и спальнями», сообщает его биограф Олег Трушин. А последним адресом писателя стала Мичуринская улица, дом №1, где он прожил совсем немного до своей скоропостижной кончины в 1983 году.

Большая кухня была весомым преимуществом. Ибо на кухне осмелевшие советские люди не только ели-пили, но и вели так называемые политические кухонные разговоры. Ведь чем была раньше кухня? Евгений Евтушенко даже сочинил мелодраматичный «Плач по коммунальной квартире»: «В нашей квартире коммунальной кухонька была исповедальной». Теперь же, переселяя народ из коммуналки в отдельные квартиры с их общими кухнями, где все следили друг за другом, власть как бы сдалась. Если раньше люди лишь думали инако, а говорили другое, то теперь на своих кухнях они и думали, и говорили то, что хотели. Личная кухня — это уже не евтушенковская исповедальня, а нечто большее.

Здесь осуждаются существующие порядки, включаются поздними вечерами радиоприемники с вражескими голосами «Радио Свобода» и «Голос Америки». А что мог говорить Федор Александрович Абрамов на своей кухне, можно себе представить, учитывая его дневник, по тем временам антисоветский. По-другому и его не назовешь.

У Василия Шукшина в пьесе «Энергичные люди» персонажи — барыги и деляги — на кухне не сидят, а выпивают по всем углам трехкомнатной квартиры. При этом они рассуждают о ненормальном писателе, который «все в деревню зовет! А сам в четырехкомнатной квартире живет, паршивец!». Выясняется, что «ему за это деньги хорошие платят, что призывает». В итоге это обстоятельство вызывает осуждение писателя: «Я его один раз в лифте прижал: чего ж ты, говорю, в деревню-то не едешь? А? Давай — покажи пример! А то — понаехало тут... не пройдешь. В автобусе не проедешь». Можно только догадываться, кого именно имел в виду Шукшин, вероятно, кого-то из писателей-деревенщиков, но явно не Бориса Можая, в 1970-е годы жившего уже на улице Чайковского, в доме № 18, напротив американского посольства, по соседству с Сергеем Михалковым.

А соседом Бориса Андреевича был очень близкий ему по духу (можно сказать, единомышленник) все тот же Юрий Любимов. Приехал как-то Юрий Петрович домой и видит: Можая гуляет у дома. Тут режиссера и осенило: «Борис, вот мы с тобой гуляем, а ведь Александр Исаевич, над ним все тучи собираются, собираются, и небось никто к нему не ездит. Я говорю: «Поедем!» Мы сели в мою машину и поехали. Он тогда жил у Корнея Ивановича. И конечно, за его дачей следили, потому что мы долго ходили вокруг дачи, долго кричали, он не отзывался. Потом для юмора я сказал: «Давай оставим мою машину, — такой вишневы у меня был набриолет “жигули”, даже номер, по моему, я помню: 00-16, я говорю, давай оставим ее у дома Вознесенского...» Мы остановились за сто метров от дачи Александра Исаевича и пошли по окнам стучать и кричать. Налиточку открыли. Там нетрудно было открыть. Потом, смотрим, он печатает на машинке и увидел нас. Открыл дверь и весь красный сам, возбужденный, чего-то печатает. Печатает, а от него прямо сгусток энергии идет. Потом он говорит: «Ребята, садитесь, очень рад. Давайте полчаса поболтаем и дальше мне работать, работать надо. Ну как вы живете?» Мы обменялись впечатлениями. Конечно, мы не говорили, что мы полны к нему глубоким чувствам и уважением. Нет, все о ситуации, об обстановке, о жизни, потом, смотрим, он заерзал, что уже пора ему работать дальше».

Можно было бы и опустить этот эпизод, если бы не его более позднее продолжение. Через дюжину лет, встречая Любимова в Вермонте, Александр Исаевич удивил его: держа часы в руке, он спросил: «А вы знаете, сегодня ровно двенадцать лет и тот же час, когда вы были у меня на даче, помните, мы простились? Вы это помните?» Любимов был поражен...

А Василий Шукшин в мае 1964 года, уже будучи полноправным москвичом, обрел еще и квартиру, кооперативную, в блочной девятиэтажке. Правда, у черта на рогах — в Свиблово, в проезде Русанова, дом № 35, но зато отдельную. Устроившись режиссером на киностудию имени Горького, он вступил в ЖСК, но не писательский, а кинематографический. Благодаря постановлению ЦК КПСС и Совета министров СССР от 1 июня 1962 года № 561 «Об индивидуальном и кооперативном жилищном строительстве» право создавать кооперативы было даровано и прочим советским гражданам. Условия были объявлены весьма сносные: строительство

начиналось «после внесения кооперативами в банк собственных средств в размере не менее сорока процентов стоимости дома». Создаваемые ЖСН могли получить кредит в Стройбанке СССР в размере до шестидесяти процентов сметной стоимости строительства на срок до пятнадцати лет, с погашением его ежегодно равными долями.

И в Москве, и Ленинграде, и в Ниеве, и в Минске началось активное строительство кооперативного жилья, в том числе и писателями, давно ожидающими, пока им дадут квартиру. Так что Шункин очень удачно и вовремя получил московскую прописку, без нее в ЖСН вступить было нельзя. «Н 1 мая обещают новоселье. Квартира хорошая, большая — тридцать четыре квадратных метра, двухкомнатная», — писал он родным в январе 1964 года. Биографы Шункина приводят такой факт: единственным предметом из мебели в новой квартире был матрац. А затем уже жена Василия Макаровича Лидия Федосеева купила «столик и два стульчика в “Детском мире”». Уже к концу года нехитрое жилье обставили. «Маленькая двухкомнатная квартира. Смежные комнаты. В первой — стол и диван. Во второй — два полудивана, маленький столик, полки с книгами. Тесная, буквально не повернуться, кухня», — вспоминал ответственный секретарь журнала «Сибирские огни» Леонид Чикин. Василий Макарович на логичный вопрос гостя о причинах получения столь крохотного жилья ответил: «А мне и не давали, — как-то просто, без нотки обиды сказал Василий. — Это кооперативная. Нупил».

В название главы нами взята фраза Василия Макаровича из его рабочих записей: «Где я пишу? В гостиницах. В общежитиях. В больницах». Ее справедливо интерпретируют как свидетельство бытовой неустроенности писателя, не давшей ему возможность полностью реализовать свой литературный дар. При этом нельзя забывать, что он был еще и актером, кинорежиссером, драматургом. Столько ипостасей в одном человеке — уже само по себе уникальное явление, не знающее аналогов в отечественной словесности. В короткие перерывы между съемками Шункин писал и в своей маленькой свибловской квартирке. «Василий Макарович работал всегда, когда выдавалось время. Ему не нужно было опускаться в кресло за письменным столом в собственном кабинете — он мог писать везде: положив тетрадку на колени, на пенек, в столовой, в общежитии, в гостинице, на кухне, в перерыве между съемками — всегда и везде», — вспоминал Евгений Лебедев, сыгравший главную роль в поставленном Георгием Товстоноговым на сцене Большого драматического театра «Энергичных людях». Лидия Федосеева свидетельствует: «Я мыла пол в маленькой квартирке, где мы жили, Вася работал на кухне. Когда очередь дошла до пола в кухне, я сказала: “Вася, подними ноги”. Он поднял ноги, сидел и писал. Я вымыла пол, убралась и тогда на него посмотрела: Вася все пишет, пишет, пишет, а ноги все так же вытянуты — он забыл их опустить».

Не было у него своего кабинета, скажем так: кабинет для Шункина был везде, где писалось. Здесь очень кстати привести слова Валерия Золотухина, шункинского земляка с Алтая, о том, на что мы тратим свои силы, когда рядом живут такие писатели, как Можаяев, Шункин. Следующую свою квартиру Василий Макарович ждал около пяти лет, еще осенью 1969 года написав матери: «Квартиру должны дать скоро, дом строят. Дом будет великолепный, квартира четырехкомнатная — с кабинетом, с детской, спальней, залом. В центре Москвы. Ничего, жить можно, дал бы нам всем Бог здоровья». Дом никак не достраивали, и Шункин обращается

напрямую к секретарю ЦН КПСС Петру Демичеву, это письмо приводит Алексей Варламов. «Прошу Вашего содействия в решении вопроса о предоставлении мне жилплощади, которая дала бы возможность работать в необходимой для этого творческой обстановке как писателю, кинорежиссеру и актеру. В настоящее время семьей в составе 5 человек (я, жена, дети) проживаем в двухкомнатной квартире (смежные комнаты 18 и 13 кв. м.). С уважением В. Шукшин. 23 февраля 1971 г.».

Василий Манарович, обратившись в ЦН, указал номер своего партийного билета, а мог бы перечислить все свои награды: Госпремия РСФСР имени братьев Васильевых 1967 года за художественный фильм «Ваш сын и брат», Госпремия СССР 1971 год за исполнение роли в фильме Сергея Герасимова «У озера», заслуженный деятель искусств РСФСР — звание, полученное им «за заслуги в области советской кинематографии» в год своего сорокалетия. Шукшин уже успел очень много сделать, был любим народом, популярен, имел множество поклонников и немало завистников. Что всегда связано между собой.

После его письма Демичеву началась секретная переписка, будто про атомную бомбу, хотя речь шла всего лишь о квартире: «Секретно в Общий отдел ЦН КПСС. Заявление кинорежиссера тов. Шукшина В.М. об улучшении жилищных условий рассмотрено Президиумом исполкома Моссовета 13 апреля с. г. Принято решение предоставить тов. Шукшину трехкомнатную квартиру. Поручено Управлению учета и распределения жилой площади подобрать квартиру для тов. Шукшина. Подбор квартиры задерживается из-за отсутствия соответствующих свободных квартир. Заместитель председателя исполкома Моссовета С. Ноломин. 19 июля 1971 г.».

Квартир в центре столицы тогда строилось много — только предназначались они не для Шукшина, а для тех, кто решал судьбу его книг и фильмов.

Номенклатура, конечно, жила по-другому. Как и прежде, у чиновников не возникало желание делить с народом одну крышу над головой. Даже кооперативные дома их не устраивали. После долгожданной отставки Хрущева в Москве активно развернулось строительство комфортабельных домов для партийного аппарата, сотрудников министерств и ведомств, генералитета. Эти здания, удобно расположенные в тени Нового Арбата и Садового кольца, можно было отличить по особому светлому кирпичу, из которых они строились. Большие балконы и лоджии, высокие потолки, холлы, огромные кухни и столовые, два санузла, минимум четыре комнаты (а могло быть и шесть, и восемь, нередко присутствовал и второй этаж), полностью импортная начинка, начиная от дверных ручек и заканчивая ванной с унитазом, бесшумные лифты, консьержка при входе. Это элитное жилье находилось в ведении Управделами ЦН КПСС, которое иногда могло с барского плеча отщипнуть кусочек и писателям — либо классикам, либо начальникам.

Но Шукшин не был номенклатурой ни в Союзе писателей, ни в Союзе кинематографистов. Лишь незадолго перед скоростной своей кончиной Василий Манарович улучшит жилищные условия, получив весной 1972 года (в то самое время, когда он готовился к съемкам «Калины красной») квартиру. «Секретно. ЦН КПСС Общий отдел. Решением исполкома Моссовета №14/22 от 28 марта 1972 г. тов. Шукшину В.М., кинорежиссеру Центральной киностудии им. Горького (семья 5 человек), предоставлена четырехкомнатная квартира №121 площадью 74,06 кв. м в доме №5 по ул. Бочнова. Заместитель председателя исполкома Моссовета С. Ноломин. 31 марта 1972 г.». Вдоволь насладиться тишиной своего первого

в жизни кабинета Василию Манаровичу не пришлось — через два с половиной года он скончался, ему было всего 45 лет. И умер-то он словно на ходу — в каюте парохода, выполнявшего роль плавучей гостиницы для творческой группы кинофильма Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину». Озвучивал роль Шукшина в фильме уже другой актер...

Анна Андреевна Ахматова, обозвав писательский дом «общежитием», угодила в самую точку, ибо общежитие или коммуна можно назвать основным стилем повседневной жизни небогатых французских поэтов XIX века, что обживали парижский квартал Монмартр, нередко соседствуя друг с другом. И потому расселение советских литераторов под одной крышей можно трактовать и как социальный фактор, и как следование мировым тенденциям. Есть, правда, один нюанс, на который указал в своих записях Юрий Олеша. 17 марта 1955 года в ЦДЛ он услышал рассказ вернувшегося из Парижа литератора, побывавшего в гостях у Луи Арагона и Эльзы Триоле. «Все квартиры, в которых я был... менее внушительны, чем квартиры наших писателей, артистов». Так что в СССР указанная тенденция укрепилась довольно сильно. Как говорится, это вам не Монмартр.

В Москве новый писательский квартал возник в 1950-е годы на Ломоносовском проспекте. Литфонд на паях с Госпланом СССР построил здесь два хороших кирпичных дома — №15 и 19. В разное время жильцами этих домов были Юрий Трифонов, Константин Ваншенкин, Инна Гофф, Владимир Дудинцев, Ион Друце, Юрий Бондарев, Григорий Бакланов, Владимир Солоухин, Борис Слуцкий, Ярослав Смеляков, Владимир Соколов, Егор Исаев, Александр Борщаговский, Юлия Друнина, Александр Назанцев, Владимир Тендряков и многие другие. Некоторые писатели, когда в 1957 году только началось заселение, были вынуждены делить жилплощадь с собратьями по перу. Например, Борис Слуцкий и Григорий Бакланов — они жили в одной коммунальной квартире, но в разных комнатах. Константин Ваншенкин вспоминает неожиданный утренний звонок Бориса Слуцкого, пригласившего его с женой Инной Гофф зайти к нему, где в это время находился «интересный молодой художник».

«Слуцкий, — свидетельствует Ваншенкин в «Писательском клубе», — жил в одной квартире с Баклановым, товарищем наших институтских лет. Тогда немало было коммунальных писательских квартир. Баклановы занимали две комнаты, Слуцкий одну. Держался Гриша исключительно корректно. Он был, по сути, еще неизвестен, а Борис почти знаменит. Слуцкий сказал мне как-то о Бакланове:

— Пишет по десять-двенадцать часов в день. Почти не вставая.

Сказано это было с уважением. Да и сам Борис был работник, что в стихах вообще редкость. Однако он признался печатно: «Выполнив свой ежедневный урок — тридцать плюс-минус десять строк...» Таким образом, он писал в день от двадцати до сорока строк! Это невероятно, чудовищно много! Обычно пишущие так пишут из рук вон плохо. Здесь — редчайший случай. Когда он заболел и перестал писать, его запасов хватило на несколько лет регулярных публикаций».

Зайдя в Борису Слуцкому, Ваншенкин увидел в его комнатах необычную выставку: стены украшали рисунки, акварели и гуаши. А вот и сам художник — «с пышно-волнистыми волосами и светлым холодно-вежливым взглядом», сотворивший портрет поэта. «Внешнее сходство было несомненное, но выглядел Слуцкий слишком монументальным, напыщенным, сановитым». Борис Абрамович отвел Константина Яковлевича

в сторонку — не хотел бы он тоже заказать художнику портрет? «Дело в том, что художника нужно бы поддержать, и некоторые по рекомендации Слуцкого подобные работы уже заказали». На что гость ответил, что у него нет свободных денег. А художника звали Илья Глазунов...

Сегодня на Ломоносовском уже почти не осталось писателей. Одним из тех, кто прожил здесь почти всю оставшуюся жизнь, и был Константин Ваншенкин, получивший двухкомнатную квартиру с женой поэтессой Инной Гофф в 1957 году в доме №15, слева от кинотеатра «Прогресс» (превращенного гораздо позже в театр А. Джигарханяна), если смотреть от трамвайных путей. Как-то я оказался у него в гостях 7 октября 2007 года, он спросил с хитрецей, знаю ли я, какой сегодня день. «Еще бы, — ответил я, — полвека запуску первого спутника Земли!» А Константин Яковлевич сказал: «Ровно пятьдесят лет назад, день в день, мы поселились в этом доме». Хорошая у него была память. До переезда на Ломоносовский, пока они с женой и маленькой дочкой несколько лет ждали эту квартиру, Союз писателей предоставил им другую, в жилом корпусе гостиницы «Украина». Там было тесновато.

За свою жизнь в этом доме Ваншенкин дважды переезжал, но только из одного подъезда в другой, увеличивая жилплощадь, с двух до четырех комнат. Трехкомнатную квартиру он получил, написав заявление в Литфонд об улучшении жилищных условий, семья разрасталась: дочка, внучка. А в последнюю квартиру он въехал в результате обмена с Егором Исаевым. Обстановка этой последней квартиры была невесть какой роскошной: книжные шкафы занимали здесь много места. Впрочем, зайти мы к любому другому писателю этого дома — и наверняка увидели бы то же самое. Книжное собрание увеличивалось за счет не только собственных произведений, но и подаренных экземпляров коллег с дарственными надписями, с посвящениями. К тому же советские литераторы были прикреплены к специализированному магазину «Лавна писателя» на Кузнецком мосту, где их снабжали дефицитными изданиями.

Расспрашивая Константина Яковлевича, я уже тогда смог составить представление о его в общем-то счастливой творческой судьбе, что было следствием и его таланта, и системы моральных ценностей, которой он придерживался. Константин Ваншенкин никогда не имел машины, охотно пользуясь такси. Хотя на отчисления от исполнявшихся песен его и жены («Я люблю тебя, жизнь», «Русское поле» и т. д.) он мог бы, подобно некоторым секретарям Союза писателей, купить «мерседес». Но в друзьях у него были таксисты, одному из которых он посвятил стихотворение. На мои расспросы относительно столь странного аскетства он пояснял: «А зачем мне это? Раз есть машина, нужно выбивать гараж. Нужно с ней возиться. А мне писать надо». И не поспоришь. Аналогичным был ответ и на другой вопрос: «Почему, Константин Яковлевич, за всю жизнь вы не заняли ни одной порядочной номенклатурной должности в Союзе писателей или толстом журнале?» Ему предлагали, и не раз, а он отказывался. А вот другим не предлагали, а они хотели. Не тратил Ваншенкин время и на стояние в очереди за дачей в Переделкине, на проживание Госпремий.

Соседом Константина Ваншенкина был генерал в отставке Виктор Ильин, многолетний секретарь по оргвопросам (с 1955 года) Московской писательской организации. В молодые годы он работал в органах, затем десять лет отсидел на Лубянке, с 1943 года. Когда после смерти Сталина Ильина оправдали, то долго искать новую должность не пришлось: он

пошел трудиться в привычную ему среду. Дело в том, что до войны в НКВД он отвечал за работу с творческой интеллигенцией. Так что генерал Ильин для писателей — самый что ни есть нужный человек, необходимый, знающий всю их подноготную. С началом оттепели он нашел себя на новой работе в Союзе писателей, в частности, занимаясь бытовыми вопросами жизни литераторов.

Нельзя сказать, что он сидел сложа руки — помогал как мог. Или сочувствовал, по крайней мере. Когда после открытой критики Георгия Марнова во время писательского съезда Константина Ваншенкина вычеркнули из числа отъезжающих в Италию, он сидел расстроенный в Пестром зале ЦДЛ с рюмкой коньяка и чашечкой кофе, мимо проходил Ильин. «Твою мать... — произнес он. — Да он бы должен был сказать: вычеркните ного угодно, но только не Ваншенкина. Чтобы не было разговоров...» Ваншенкин оценил слова Ильина, назвав его «человеком старых правил».

Многие писатели, пожив некоторое время на Ломоносовском, благодаря все той же неустанной заботе родного Мосгорисполкома и Литфонда наострили лыжи в другой конец Москвы — к метро «Аэропорт», где в первой половине 1960-х годов возникло то самое кооперативное «писательское гетто», как назвала свой район Майя Туровская. Откуда такое жуткое сравнение? Вероятно, от сверхплотной концентрации писателей на один квадратный метр жилой площади. В начале марта 1959 года было озвучено историческое решение об организации нового жилищно-строительного кооператива Союза писателей и Литфонда. Название нового ЖСК (числом аж до 250 пайщиков!) долго подбирать не пришлось — «Советский писатель». Желающих получить новую квартиру за свои же деньги нашлось очень много. Никогда еще строительство «литературного» жилья не было столь массовым.

С начала 1960-х годов писателей принял под свои своды целый лес кооперативных домов, ныне это дома №21, 23, 25, 27, 29 по Красноармейской улице. Здесь в разное время жили-были, здоровались с друг другом (или не здоровались), ругались и сталнивались нос к носу Василий Ансенов, Борис Балтер, Тимур Гайдар, Анатолий Гребнев, Леонид Зорин, Фазиль Искандер, Лев Нопелев, Владимир Лакшин, Александр Межиров, Николай Носов, Анатолий Приставкин, Давид Самойлов, Анатолий Алесин, Василий Гроссман, Алесей Наглер, Булат Окуджава, Михаил Шатров, Юрий Левитанский, Николай Доризо, Юрий Давыдов и многие-многие другие литераторы, критики, переводчики, сотрудники редакций и просто хорошие люди.

Но даже если бы мы перечислили всех писателей, живущих в этих домах, картина все равно оказалась бы неполной, ибо неподалеку на улице Черняховского, дом №4, стоит еще один ЖСК — «Московский писатель», где жили Александр Галич, Юрий Нагибин, Евгений Габрилович, Виктор Шкловский, Арсений Тарковский, Владимир Войнович, увековечивший дом в своей повести «Иванькиада, или Рассказ о вселении писателя Войновича в новую квартиру». Пролистаем ее.

«Что и говорить, разные люди живут в нашем доме, люди с самыми причудливыми биографиями. Потомки аристократических фамилий, бывшие большевики, меньшевики, чекисты, троцкисты, уклонисты, лауреаты Сталинских премий, космополиты, ортодоксы, ревизионисты, секретари Союза писателей — ного только нет. Еще недавно с гитарой в чехле ходил из подъезда в подъезд Галич. “Ну, что говорят о моем романе?” —

спрашивал каждого встречного Бен. Иных уж нет, а те далече. Арнадий Васильев, чекист, писатель, обвинитель Синявского и Даниэля, тоже жил в нашем доме. Теперь не живет. Теперь он лежит на Новодевичьем кладбище между Ночетовым и Твардовским, неподалеку от Хрущева. Все смешалось. Но еще не все померли и не все уехали. Есть и сейчас в нашем доме интересные люди. Потолкавшись в нашем дворе, самого Симонова вы можете встретить».

Действительно, Константина Михайловича Симонова можно было встретить. Но мемориальная доска ему установлена на соседнем доме №2, удостоверяя факт того, что писатель жил здесь с 1967 по 1979 год. Биограф Симонова Борис Паннин, вспоминая обстановку квартиры, то есть «верхнего» кабинета писателя, особо отмечает письменный стол, изготовленный по собственным чертежам Симонова, который придал ему форму ленала. Но почему доска установлена на доме №2, а официальным адресом писателя был дом №4?

У Константина Михайловича было две квартиры в соседних домах. «Живем втроем, жена, дочь и я, в небольшой квартире в пятьдесят девять метров. Считается четырехкомнатной, но на самом деле три небольших изолированных комнаты и проходной холл. Жена — искусствовед, кандидат наук, член Союза художников СССР, работает дома, имеет огромную библиотеку по специальности. Дочь — студентка второго курса истфака МГУ, ну и мне нужно рабочее место. В результате три комнаты из четырех стали, по сути, кабинетами, а четвертая проходная остается «на все про все», и практически у нас с женой нет спальни», — так объяснял писатель свою просьбу в Моссовет разрешить ему купить еще одну квартиру, однокомнатную, что и стала «нижним» кабинетом, ибо располагалась на первом этаже. Здесь Симонов мог спокойно работать, это была и его приемная. А упомянутая четвертая жена писателя (с 1957 года) — это Лариса Алексеевна Жадова (дочь генерала армии А.С. Жадова и вдова поэта С.П. Гудзенно), известный специалист по русскому авангарду, а дочь — Екатерина Нирилловна Симонова-Гудзенно, удочеренная писателем, ныне видный историк-японист.

Борис Паннин, неплохо знавший писателя, не раз бывал в этом «нижнем» кабинете: «Просто однокомнатная квартира в стандартном, шестидесятих годов постройки доме. Хрущоба, переоборудованная так, чтобы здесь можно было работать — то есть писать на машинке, динтовать Нине Павловне и на магнитофон, прохаживаясь и дымя трубной, держать необходимые книги и папки с собственными архивами». В кабинете трудилась и Нина Павловна Гордон — многолетний личный секретарь Симонова, одна из самых близких ему сотрудников, которой он «доверял как самому себе», и его машинистка Татьяна Владимировна. А работал Константин Михайлович и в своем доме в Гульрипши, и на даче в Красной Пахре...

Одной из примет писательской повседневности, зародившейся в том числе и среди обитателей этого квартала, стали проводы в эмиграцию. Провожали словно в последний путь, без надежды когда-либо встретиться. Таковы были настроения, усилившиеся с конца 1960-х годов, когда, по выражению Наума Коржавина, стало не хватать «воздуха для жизни». Юлий Крелин был на тех проводях: «Провожали, как в смерть. Не чаяли, что когда-нибудь увидимся. Трехкомнатная квартира Эмки была забита так, что иные из молодежи сидели на шнафу под потолком. Галич пел, что никогда не уедет, а останется, так сказать, у родных могил. Кто же думал, что его-то могила окажется весьма скоро на чужой стороне... Отъезд

Эмки был каким-то завершающим этапом нашего существования и началом чего-то нового, еще неведомого нам».

Наталья Бианки, работавшая редактором в «Новом мире», вспоминает, как проходил «день открытых дверей» в квартире Владимира Войновича: «Народ приходил и уходил. Двери практически не закрывались. При мне забрели Нардины, Рассадины, Бахновы, Алла Гербер... Когда собрались уходить, Володя вышел нас проводить. Мы обнялись...» Обстановка была трагической. Незадолго перед этим вечером в мастерской Бориса Мессерера на Поварской (тогда улица Воровского) с Войновичем также прощалась масса народу. Владимир Николаевич, рыдая, кричал: «Благодарю вас всех за то, что вы пришли! Но ведь вы пришли не на проводы, а на мои поминки!» В декабре 1980 года Владимира Войновича выслали из СССР, а затем лишили гражданства.

Уезжавших из страны писателей вычеркивали из истории литературы так, будто навсегда снимали с довольствия. Из книжных магазинов и библиотек изымали их книги, за чем строго надзирал Главлит — Главное управление по охране государственных тайн в печати при Совете министров СССР. Порядок изъятия был не раз опробован, ибо выезжало писателей много. Уничтожали и журнальные публикации. Например, 14 февраля 1974 на основании приказа Главлита «Об изъятии из библиотек и книготорговой сети произведений Солженицына А.И.» уничтожению подверглись те номера журналов «Новый мир» за 1962–1963 годы, где увидели свет рассказы «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор» и другие. Изымались и уничтожались работниками библиотек публикации на всех языках. «Разрезание на мелкие части» строго фиксировалось актом.

Чуть раньше Войновича покинули Советский Союз Лев Копелев и Раиса Орлова: «Ранним утром двенадцатого ноября 1980 года мы в последний раз закрыли за собой двери московского дома, в последний раз проехали по знакомым улицам и уже через три часа оказались в другой стране, в другом мире. Необратимость отъезда мы осознали два месяца спустя, когда нас известили о лишении гражданства». Мысли об отъезде могли прийти и раньше — когда в 1976 году им разбили окна в квартире, на первом этаже. Пришлось переезжать в соседний дом на той же Красноармейской улице, на шестой этаж... Наталья Бианки помнит, что народу на прощании была «тьма». Пришло более сотни человек.

Сергей Чупринин передает гнетущую атмосферу того давнего дня: «Помню, как глубокой, глухой осенью 1980 года Раису Давыдовну Орлову и Льва Зиновьевича Копелева провожали за рубеж — для чтения лекций в западногерманских университетах, по самому что ни на есть официальному приглашению, с самыми что ни на есть официальными гарантиями. И провожающие, и отъезжающие, помню, внешне бодрились — что разлука, мол, ненадолго. И провожающие, и отъезжающие знали, втайне были уверены — что навсегда». Если бы все изгнанники-литераторы собрались за границей вместе, в одной стране, в одном городе, то из них можно было бы создать большой писательский кооператив...



ВЕЛИКИЙ ПЕРСОНАЖ ЭПОХИ

ИЗ ГОТОВЯЩЕЙСЯ ПЕРВОЙ КНИГИ БИОГРАФИИ
«ЮРИЙ ДОМБРОВСКИЙ: ПИТЬ, ЛЮБИТЬ, ГОВОРИТЬ»



ИГОРЬ ДУАРДОВИЧ
Литературовед, литературный критик, журналист и эссеист. Директор редакции журнала «Вопросы литературы». Родился в 1989 году. В 2013–2019 годах работал в журнале «Новая Юность», где был ответственным секретарем и одновременно заведовал поэтическим

отделом. Член Союза журналистов России. Стипендиат Министерства культуры РФ (2014, 2015). Биограф и исследователь творчества Юрия Домбровского. Автор и редактор сайта Юрия Домбровского <https://dombrovskiy.online> (проект Музея истории ГУЛАГа, находится в разработке).

Из воспоминаний мы знаем, что Юрий Домбровский говорил: «В лагерной прозе Шаламов первый, я — второй, Солженицын — третий».

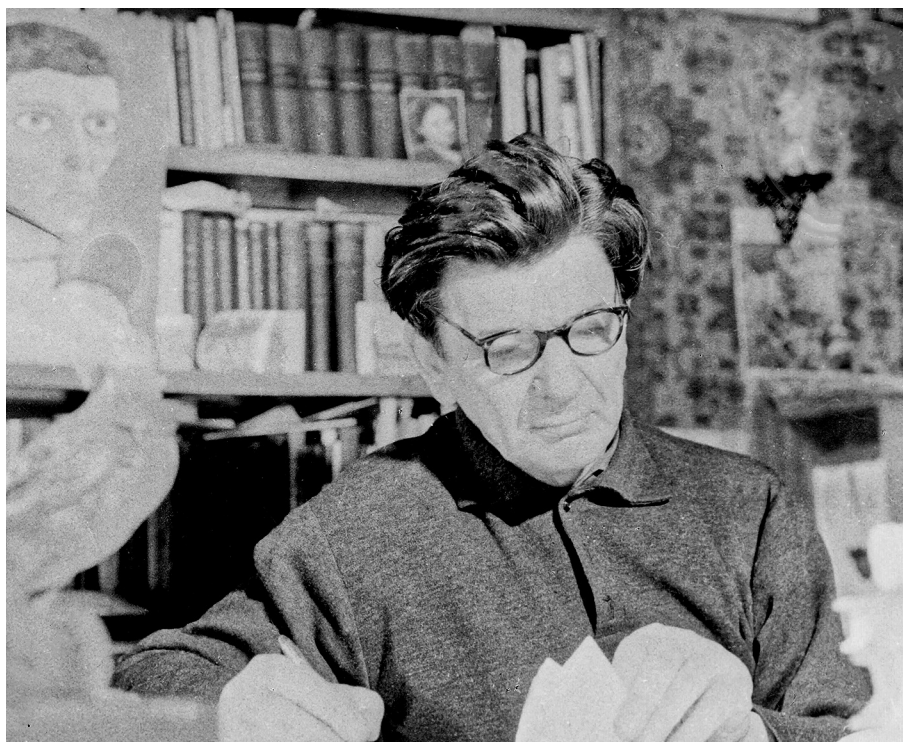
А что говорили Шаламов и Солженицын о Домбровском?

Первый назвал роман «Хранитель древностей» лучшей книгой о тридцать седьмом годе.

С последним дружбы не сложилось. Однажды, придя к Домбровскому, он стал упрекать его в неисполнении великой миссии летописца эпохи. Это занудство хозяин комнаты в Большом Сухаревском переулке, скандально известной всем жильцам тамошней коммуналки, человек, которого могли назвать обидчивым только самые откровенные предатели и мерзавцы, мог бы и пропустить мимо ушей, но Александр Исаевич, настроенный исключительно на работу (он собирался протонолировать лагерные странствия Юрия Осиповича для «Архипелага...»), совершенно не учел психологии пьющего человека и отказался от ченушки. И даже не от ченушки, а от алюминиевой полкружки знакомого солдатско-лагерного образца. Все это было заботливо приготовлено и тут же разложено на газетке. Так Александр Исаевич испортил момент — так Юрию Осиповичу плюнули в душу.

Однако Домбровский и Солженицын, как заметят позднее, были исполнителями двух разных миссий на русской земле: один — великий летописец, другой — великий персонаж эпохи. Это определение и эта характеристика Домбровского, как бы отсылающие нас к практикам символизма, размывавшего грань между жизнью и творчеством, хотя никаким символистом Домбровский, конечно же, не был (символисты в отцы ему годились), и тем не менее эта грань у него была так же тонка и порой неопределенна, являются краеугольными для понимания человека и писателя.

Слово «персонаж», конечно, не всем может понравиться. Ному-то оно покажется неприемлемым, кто-то не согласится и поспорит с ним, полагая,



↑ Ю. Домбровский за рабочим столом. Моснва, 1963 год

возможно, что оно приуменьшает значение художника, или даже более того — ставит под сомнение сам его статус, поистине выстрадавший и добытый всей нелегкой судьбой Мастера, не заслужившего света.

Для начала я предлагаю вспомнить Шенспира, а Домбровский любил его и одно время преподавал — вел собственные шенспировские курсы, писал о нем статьи и даже выпустил книжку посвященных ему новелл. Вот строчки из его комедии: «Весь мир — театр. В нем женщины, мужчины — все антеры. У них свои есть выходы, уходы, И каждый не одну играет роль». Шенспир в свою очередь взял эту метафору у древнеримского писателя Петрония, автора «Сатирикона».

Если Шенспир не подействовал, то стоит задаться вопросом: много ли мы знаем о Домбровском как о человеке — о живом Домбровском? Не о непримиримом борце за свободу духа, который дрался с гэбэшниками, не об авторе «заглавного российского романа второй половины XX века». Много ли мы знаем о человеке, который просто хотел пить, любить, говорить и лишь затем только писать не из-под указки ЦН партии? «Ты влюбись да пей, и у тебя скорее появится талант», — такой есенинского толка совет давал он начинающим. Учитывая, что Домбровский гораздо менее известен, чем те же Шаламов и Солженицын, ответ очевиден.

Впрочем, уже и о самих репрессиях понемногу начинают забывать: ГУЛАГ — что это было? Все это осколки-слова на устах молодого поколения, больше не способные никого поранить, круглые и красивые, как морское стекло.

Вспоминаются тревожные мысли из последнего рассказа Домбровского «Ручна, ножна, огуречин», где главный герой, тоже писатель, в котором легко угадывается сам автор, едет в элентричке и думает: «...все

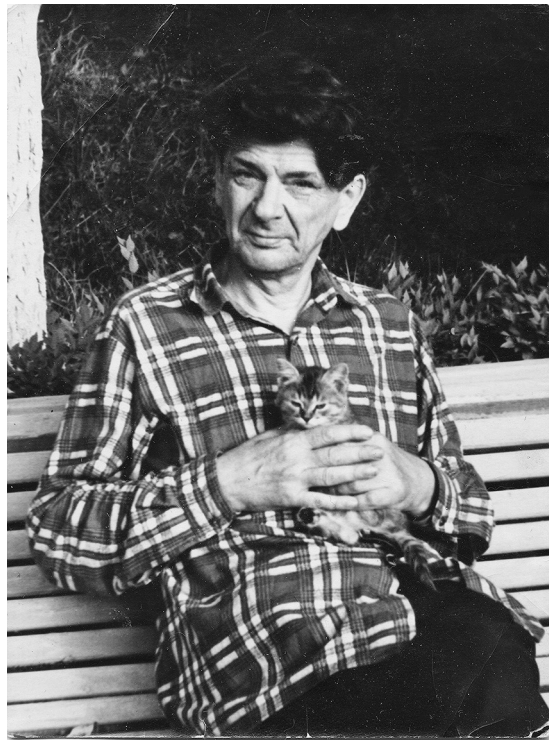


что-то сходят с ума. Все потеряли память». Этими мыслями на мгновение прерывается разговор с попутчиком, хорошим знакомым, затем превратившимся в гэбэшника. По-моему, это хороший эпиграф к нашему сегодняшнему состоянию, когда о ГУЛАГе не просто не знают, но еще и задаются вопросом, а зачем это знать.

Тем не менее о чем из того, что нам известно, мы действительно готовы говорить? Ведь, как всегда, есть вещи, которые не очень удобно вспоминать для писателя, вернее, для того образа и мифа, который был создан отчасти им самим, отчасти его друзьями и родственниками. Читаем в воспоминаниях: «Он жил в пространстве, где литература плавно перетекала в жизнь, а жизнь — в литературу, и никогда нельзя было сказать с уверенностью, где кончается жизнь и начинается литература. Таков был способ его существования, состояние его сознания, в котором нлубились фантастическая жизнь и фантастические сюжеты».

В год сорокалетней годовщины со дня смерти, когда я впервые увлекся биографией Домбровского, именно это послужило причиной скандала, ведь новые или хорошо забытые фанты делали по-киношному эффектную версию преследований КГБ и «убийства» за роман (за «Факультет ненужных вещей», который был продолжением «Хранителя...») довольно-таки неоднозначной. Желание и попытка выяснить больше, докопаться до того, как было на самом деле, вопреки уже затверженной истории об «убийстве», были восприняты сразу и как откровенное незнание, и как обман, и как погоня за сенсацией, и даже еще хуже — как стремление исказить облик писателя и оскорбить его память. Эта реакция, правда, имела и свой положительный момент, так как побудила меня серьезнее заняться биографией, а в итоге подтолкнула и к ее написанию.

Остро отреагировала вдова Н. Ф. Турумова-Домбровская. Причины были понятны: какие-то вещи было нелегко вспоминать, а говорить



Ю. Домбровский с котенком
Насьной. Под Алма-Атой.
1966–1967 годы

о них еще тяжелее, к тому же образ мужа-писателя для нее давно сложился. Но в конце концов контакт с вдовой удалось восстано-
вить, и мы еще не единожды встречались и беседовали, пока она
была жива, хотя «семейная цензура» по-прежнему осложняла и без
того непростую работу. С одной стороны, не было единого архива —
документы были разбросаны между Россией и Казахстаном, Москвой
и Алма-Атой, но с другой — «семейная цензура» все-таки оказалась
непреодолимее любых расстояний и бюрократий, неодолимее любых
вершин и загадочнее любых глубин: есть гений, талант, текст, а все
семейное не важно — буквально таковой до последнего была позиция
вдовы. К сожалению, от вдовы эта позиция перешла и к некоторым ее
знакомым.

Думается, в том числе по этой причине в увековечивающем ряду
не появилось собственной книги воспоминаний Турумовой-Домбров-
ской, а между тем ее ждали, ведь на протяжении многих лет вдова делала
очень и очень многое для сохранения памяти и популяризации наследия
мужа. «Письма (то есть книга писем. — *И. Д.*) намного выразительнее...» —
однажды сказала она в телефонном разговоре. Так она объяснила свой
отказ издателю братья за этот труд.

В то же время в наших личных беседах вдова выражала опасение
насчет излишней скуповатости и дотошности — углубления в некоторые
события, внимания к некоторым людям и деталям. Не отодвинут ли они
в сторону самого Домбровского? В результате не всеми документами она
смогла поделиться, а точнее сказать, не всеми захотела. Но за какого
именно Домбровского она переживала больше — за человека или
за писателя, раз уж она отделяла одного от другого?

По крайней мере, с «великим персонажем» она была согласна, раз
это печаталось среди воспоминаний, а значит, она видела метафору

и не придиралась к словарным значениям, ведь персонажами мы называем людей обычно не очень нам приятных: «Комический персонаж».

Естественно, к Домбровскому это никак не относится — в разговоре о нем не может быть никакой иронии. Например, таким же «персонажем» был Венедикт Ерофеев, хотя и не столь «великим». Однако же о Ерофееве мы знаем не в пример больше и его биография написана, а с Домбровским положение совсем иное, а потому и не понято и, по сути, не замечена его роль в театре эпохи. Потому до сих пор как писатель он не вполне проявлен, то есть оценен и прочитан, несмотря на то что имя его легендарное и его принято упоминать в одном ряду с Шаламовым и Солженицыным, несмотря, повторю, на все усилия вдовы.

Дмитрий Быков писал в одном эссе, посвященном Домбровскому: «...у него и прототипа нет в русской литературе — вырос ниоткуда, торчит одиночкой, генезис неясен». Разговор о писательских прототипах еще предстоит в биографии, а пока можно сказать о прототипах других — о литературных героях, с которыми Домбровского сравнивали при жизни. Именно они дают представление о человеке. Все это были не то чудани, не то безумцы, юродивые борцы, неунывающие фантазеры, отважные шуты и пылкие красноречивые романтики. Так же, как и они, Домбровский вызывает улыбку и восхищение, поражает и печаливает.

В первую очередь это был Дон Нихот — в лагере у Домбровского даже была кличка Дон Нихотский. Сравнивали его и с Мюнхгаузеном, а также с булгаковским Мастером, который выбивается из этого шутовского и рыцарского ряда, однако параллель с ним тоже не случайная, учитывая, сколько раз Домбровскому мешали, выдирая его из-за рабочего стола железными щупальцами — на годы, да и потом, уже значительно позже, не печатая то, что должно было печататься.

И все-таки Дон Нихот, кажется, Домбровскому ближе всего. Оба по своему возвышенному мироощущению были людьми из другого времени и борцами за вечные ценности, вот только угрозы и борьба Домбровского были куда более реальными — они были самыми настоящими. Дон Нихот жил в ситуации канувшего в прошлое рыцарства, но это было плохо лишь для него самого, остальные идалго продолжали прозябать в праздности и безделье, развлекая себя рыцарскими романами, а Домбровский — в ситуации «ненужных вещей», «ненужность» которых обернулась всеобщим ужасом и кошмаром.

И там, и там — История, складывающаяся из историй. Персонаж — это всегда истории: «Как непочтительно Ю.О. Домбровский с сенсатом обошелся», «Как Ю.О. Домбровский правду-матку резал», «Как сотрудник Госужаса свой долг служебный нарушил», «Как Домбровский Молотова оскорбил». Это лишь немногие истории, рассказанные литературоведом Александром Жовтисом, одним из алма-атинских друзей писателя, в книге «Непридуманные анекдоты», напечатанной, когда анекдоты уже вышли из моды — за них больше не сажали, но и не смеялись над ними уже так же светло, горько и надрывно.

«Это страна не великих действий — это страна великих анекдотов», — сказал как-то в своей передаче Эдвард Радзинский. Хочется добавить — страшных, но вполне рядовых анекдотов, потому что инкриминировалось все что угодно. Так, разглядеть бородку Троцкого в пламени зажженной спички, нарисованной на спичечном коробке, было вполне обычное дело, это никому не казалось абсурдным, не говоря уже о злодейском зара-

жении хлеба специальным «иностранным клещом» и уж тем более о завербованности японской разведной.

Неудивительно, что великий персонаж жил в стране великих анекдотов, из которых складывалась и на которых заканчивалась жизнь большинства советских граждан, что и показывает нам книга Жовтиса. Однако историй Домбровского намного больше, и многое в эту книгу не попало. Список этих историй можно продолжать: «Нак Домбровский оскорбил Первомай», «Нак Домбровский о происхождении человека говорил, или Нак он Ленина на три буквы послал», «Нак Домбровский отомстил другу-предателю», «Нак Домбровский неизвестные стихи Мандельштама читал», «Нак Домбровский от архангелов в автобусе отбивался» и т. д. Избранные истории соответствуют основным датам жизни и творчества писателя — остается только сложить их вместе, пока не оборвется весь смех, не исчезнет навсегда улыбка.

Речь снова об «убийстве» за роман. Именно через смерть метафора персонажа обретает свою полную силу, «жизнь — анекдот» переходит обратно в «жизнь — театр», потому что у великого персонажа должен быть великий конец, а любовь и смерть традиционно определяют, как глубоко он проникнет в нашу память и как надолго в ней останется. Собственно, уже этим и оправдывается миф, объясняется его необходимость. «Все это становится его КАРНАВАЛОМ (так у автора. — *И. Д.*), — читаем снова в воспоминаниях. — Только не карнавалом всеобщего праздника, а карнавалом постоянного и упорного разговора со смертью».

Невзирая пока на факты, «убийство» Домбровского хочется сравнить с убийством святого юродивого. Поэтому оно нас так потрясает. На Руси юродивых любят, а в известных произведениях Пушкина и А. Толстого именно они были единственными, кто смел прямо говорить с властью, ибо глас их был гласом Божиим. «Нак же я могу отойти в сторону и скрыть то, что видел, что знаю, то, что передумал? Идет суд. Я обязан выступить на нем» (из послесловия к «Фанультеу...»).

Любопытно, что сам Пушкин, тоже немало волновавший Домбровского и имевший для него особое значение, пусть и в шутку, но отождествлял себя со своим юродивым Николкой из «Бориса Годунова». Юродивый появляется в трагедии всего раз, но сцена, в которой он вершит суд над царем, — одна из важнейших. Вот и у Домбровского в «Фанультеу...» есть значительный эпизод, где в полубреду герой разговаривает со Сталиным. При этом надежды на счастливый исход русской истории, на рождение отечественной гражданственности Пушкин связывал что с Николкой, что со вторым персонажем трагедии — летописцем Пименом.

В итоге объяснить, почему именно «персонаж», доказать правильность этого слова — это и была ключевая задача написания биографии, до сих пор не существовавшей.

Что такой «персонаж эпохи», что вообще означает эта метафора? В чем разница между летописцем и персонажем? Чем отличаются их миссии?

Наконец, увидеть эпоху глазами «персонажа».

Ну и, конечно, почему Шаламов — первый, Домбровский — второй, а Солженицын — третий. И это тоже.

ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ С ВОЕННОЙ РАЗВЕДКИ

К ЮБИЛЕЮ ВЛАДИМИРА АРСЕНЬЕВА



ВЯЧЕСЛАВ ОГРЫЗНО

Родился в 1960 году. Онучил истфак Московского государственного педагогического института имени В.И. Ленина. Занимается историей советской культуры и литературы. Автор свыше тридцати книг. С 2004 года — главный редактор еженедельника «Литературная Россия».

В общественном сознании почему-то укрепилось мнение, будто фигура В.Н. Арсеньева, крупнейшего русского писателя и этнографа, — одна из самых изученных в нашей литературе. О нем написано почти два десятка книг. Я назову только самые известные. Это работы М.Н. Азадовского, Ф.Ф. Аристовой, Н.Е. Набанова, И.С. Нузьмичева, Н.М. Рогова, А.И. Тарасовой, А.А. Хисамутдинова и М.М. Хасановой. Но несмотря на обилие публикаций, биография Арсеньева, как это ни парадоксально, до сих пор изобилует белыми пятнами и содержит много недоговоренностей.

Вот лишь один вопрос: что же привело младшего офицера русской армии в 1900 году на Дальний Восток — только ли его юношеская страсть к путешествиям? Анализ документов убеждает, что в Приморье русский офицер Арсеньев был переведен прежде всего для продолжения политики царского правительства по русской колонизации Дальнего Востока. И первые экспедиции Арсеньева по Уссурийской тайге носили не столько этнографический, сколько военно-политический характер. У нас, кстати, почему-то до сих пор стыдятся писать о том, что многие выдающиеся исследователи и путешественники Дальнего Востока и Средней Азии имели определенное отношение к русской разведке. Лишь в 2002 году автор энциклопедического словаря российских спецслужб «Разведка и контрразведка в лицах» А. Диденко прямо назвал Арсеньева военным разведчиком, при этом умудрившись в биографической справке о своем герое не привести никаких конкретных данных о разведдеятельности ученого.

Так кто же такой Арсеньев?

Известно, что его род происходил из немцев. Уже в 1912 году Арсеньев, откликаясь на просьбу одного из своих однофамильцев, жившего в Туле, сообщал: «Мой прадед был вывезен в Россию Петром Великим. Он был немец, но жил раньше в Голландии; фамилия его была Гот-Майер. Каково его социальное положение было на родине, я сказать

не могу. Он был человек очень образованный и, нажется, занимался химией. Мой дед был помещик Тверской губернии и имел уже русскую фамилию — Арсеньев. Как это случилось, сказать не могу. Что-то очень смутно помню, мне рассказывала мать, что наше духовенство будто бы не хотело венчать лютеранина на русской, требовало от него, чтобы он перешел в православие. Он не захотел. Моя бабушка, с которой он жил без брака до самой смерти, имела сына, которому, возможно, и дали фамилию Арсеньев (по крестному отцу). Впрочем, возможно, что это было не так. Дед мой разорился, и имение его было продано. Вот и все, что я знаю. Признаюсь, я никогда не интересовался этим вопросом так глубоко».

Сам же Арсеньев родился 29 августа (по новому стилю 10 сентября) 1872 года в Санкт-Петербурге. Его отец — Клавдий Федорович — работал конторщиком Николаевской железной дороги и впоследствии досрочно до должности начальника Окружной железной дороги. Мать — Руфина Георгиевна — была дочерью бывшего крепостного крестьянина Нашлачева, одно время она держала в Петербурге маленькую швейную мастерскую. Судя по косвенным данным, будущий путешественник совсем недолго учился в 2-м Петербургском реальном училище, откуда его «исключили за шалости». Потом он посещал занятия в Петербурге во Владимирском городском четырехклассном мужском училище и в Петербургской 5-й гимназии. Сдав экстерном экзамены при 1-м кадетском корпусе, Арсеньев 23 ноября 1891 года стал вольноопределяющимся 145-го Ново-черкасского полка.

В 1896 году Арсеньев после окончания Петербургского пехотного юнкерского училища был направлен служить в саперный батальон под Варшаву. А уже через год он сыграл свадьбу. Его избранницей стала дочь петербургского коллежского секретаря Анна Надашевич. Они дружили с детства. Когда Анне исполнилось пятнадцать лет, Арсеньев предложил ей обручиться. И потом они два года ждали свадьбы. Спустя полвека Анна Константиновна рассказала дальневосточному краеведу Г. Пермянову, как проходили торжества. Она вспоминала: «22 октября ст. ст. 1897 года мы поженились. У меня было 4 шафера, у Володи тоже. Нареты, фата, подвенечный наряд, флердоранж, много гостей, почти все военные. Свадьбу провели на квартире отца Арсеньева на Второй Советской. Ужин, кортеж длинный, родня, музыка. На другой день после свадьбы мы уехали с Володей в Ломжу (в Польшу. — *В. О.*). Все радовались, мне тогда было 17 лет. Приехали в полк, нас хорошо приняли, квартира была уже обставлена, офицеры встретили меня с букетами. Я была самой молодой дамой» (цитирую по альманаху «Рубеж», выпуск 6, 2006 год).

В Ломже Арсеньевы пробыли до лета 1900 года. Первой уехала Анна Константиновна: она собиралась рожать, и муж решил, что жене лучше в это время находиться рядом с матерью в Петербурге. Анна Константиновна покинула гарнизон в мае, а уже 11 июня на свет появился их первенец Владимир. Рождение сына совпало для Арсеньева с новым назначением в 8-й Восточно-Сибирский линейный батальон. Как потом вспоминала Анна Константиновна, муж смог приехать к ней в Петербург лишь 17 июня. Он посмотрел на сына и уже на следующий день сел в поезд, который увез его на Дальний Восток.

Через пару недель эшелон достиг Читы. Потом была станция Сретенск. Дальше железную дорогу проложить еще не успели. Но зато хорошо был освоен водный путь по Шилке, которая на границе с Китаем вместе

с Аргунью вливалась в Амур. В дивизионе рассчитывали, что дорога до Хабаровска займет еще максимум неделю. Но спокойного путешествия не получилось. Вскоре офицеры сообщали, что 2 июля один из опорных русских городов на Амуре — Благовещенск подвергся нападению. В ответ командующий Благовещенским отрядом генерал-лейтенант Грибский решил китайскую сторону примерно наказать. 8 июля весь личный состав дивизиона, шедший в Хабаровск, перешел в его подчинение. Там, на Амуре, 20 июля Арсеньев принял свой первый бой (как говорилось в официальной биографии ученого, он «участвовал в делах при выбытии китайцев с позиций у города Сахалина»).

До бухты Золотой Рог Арсеньев добрался лишь 5 августа. Чем именно ему пришлось заниматься во Владивостоке в первое время, точно неизвестно. Если верить местной прессе, он чуть ли не полностью растворился тогда в театре. В частности, газета «Владивосток» 25 февраля 1901 года сообщала: «В Гнилом углу, в казармах 1-го крепостного полка состоялся 11 февраля бесплатный солдатский спектакль, исполненный нижними чинами учебной команды. Режиссировал заведующий командой поручик Арсеньев. Было поставлено «Пираты. Феерия в 8 действиях с прологом». Пьеса разыграна с ансамблем. Видно, что поручик Арсеньев, любитель сценического искусства, немало приложил забот и старания, чтобы доставить полезное развлечение своим подчиненным, нижним чинам на далекой окраине». Но понятно, что во Владивосток Арсеньева начальство направило отнюдь не для организации солдатского досуга.

Ровно через год к Арсеньеву во Владивосток переехала семья, и 25 июля 1902 года жена родила ему второго сына Олега, который потом простудился и в 1904 году умер.

Да, незадолго до рождения второго сына Арсеньев, судя по воспоминаниям его супруги, тяжело заболел. «В нашем гнилом углу (так называли Арсеньевы свой владивостокский дом. — *В. О.*), — рассказывала Анна Нонстантиновна краеведам уже в 1958 году, — он вдруг стал красным, температура 40, язык заплетается. Ушел, от извозчика отказался, пошел пешком на Эгершельд — полуостров на западе Владивостока. Там в военном госпитале нашли у него сибирскую язву, лечили 40 дней. Эти дни у нас с Волей (так супруги звали своего первенца. — *В. О.*) был карантин, висел желтый флаг. Язва очень заразна. Заболел от звериных шнур из тайги. Его оперировали, остались шрамы оноло правой лопатки на правом боку. Кто-то сочинил, что якобы Володя был в тайге, там якобы его ранил китайский хунхуз, вот и была у него рана на груди. А грудь у него была чистая, как зеркало».

Но, похоже, Анна Нонстантиновна сама всей правды не знала. Судя по документам, незадолго до тяжелой болезни Арсеньева назначили заведующим охотничьей командой. Но к охоте эта команда никакого отношения не имела. Точнее, она не занималась охотой на зверей. Ее цель была другая — выявление тайных схронов хунхузов. Естественно, команде приходилось рисковать. Однако Арсеньев, скорее всего, не хотел волновать свою беременную жену и многое о своей службе дома умалчивал.

Уже после болезни Арсеньев получил должность начальника Владивостокской крепостной конноохотничьей команды. Но и на этом посту главной его задачей оставался сбор разведматериалов.

Если верить одному из биографов Арсеньева — А.И. Тарасовой, за первые годы службы на Дальнем Востоке Арсеньев «вместе с охотничьей командой буквально «излазил» по всем направлениям всю юго-

восточную часть Уссурийского края до залива Святой Ольги. Центром его исследований были: Шкотово, реки Сучан, Судзухе, Сяхе, Лефу и районы южного побережья оз. Ханка. Дважды ему удалось перейти хребет Дадянь-Шань (западные предгорья Сихотэ-Алиня) и выйти один раз на р. Улахе к деревне Наменке, другой раз на р. Даубихе к урочищу Анучино и к почтово-телеграфной станции Лазаревой. Эти небольшие и непродолжительные экспедиции имели целью разведки военного характера, сбор статистических сведений о населении, изучение местности в колонизационном отношении. Попутно Арсеньев вел географические наблюдения, делал археологические раскопки, вел дневники, куда вносились наблюдения по географии и этнографии края. В 1902 г. им произведены раскопки в устье р. Шаморы близ Владивостока и на р. Цимухе около горы Ташан-моу, на вершине которой находились остатки старинного укрепления, в 1903 г. — на левом берегу р. Сучана, в десяти верстах от устья. Раскопанный материал он доставил в Петербург в Русский музей. Во время своего отпуска Арсеньев обследовал памятники старины, оставленные древними племенами на реках Майхе, Цимухе и Нонгаузе, составил подробное их описание, попавшее через Н.А. Пальчевского к председателю Приамурского отдела Русского географического общества С.Н. Ваннову и приамурскому генерал-губернатору Н.И. Гроденову. Последний распорядился засчитать потраченное отпускное время как командировку и выплатить Арсеньеву суточные деньги» (А. Тарасова. Владимир Павлович Арсеньев. М., 1985).

Когда закончилась русско-японская война, Арсеньева перевели в штаб Приамурского военного округа. Командующий округом П.Ф. Унтербергер был очень обеспокоен. Он не знал, насколько опасен для армии и русских переселенцев Сихотэ-Алинь. Огромная таежная территория до сих пор оставалась неизученной. Унтербергер полагал, что там могут скрываться различные иностранные банды. Арсеньеву предстояло детально изучить район, по площади равный Франции.

В первую очередь Унтербергер ждал от своего подчиненного сведения об укрывшихся в горах Сихотэ-Алиня японцах и китайцах. Командующего округом интересовали данные об иностранных базах, описания районов возможных боевых действий и отношение к иностранцам местных жителей. Кроме того, ему нужны были подробные карты. И штабс-напитан Арсеньев не подвел генерала. В одном из донесений он сообщал: «На реке Сань Хо-Бэ есть китаец по фамилии Суй-Хуин, который отлично говорит по-японски, ездит часто в Японию, живет там в течение нескольких месяцев, при появлении японцев в течение 10 лет постоянно является на их суда проводником и переводчиком, на паях ловит с ними рыбу в самих реках, уходя от устья вверх на 1–2 версты. К тому же он отлично знает побережье и умеет делать съемки рек. Записная книжка со съемками и записями у него отобрана, а сам он арестован. Такого субъекта держать здесь на побережье очень неудобно, и его надо непременно удалить». В другом донесении Арсеньев, анализируя особенность одного из районов Сихотэ-Алиня, писал, что «с военной точки зрения эти увалы и эти распадки, заросшие кустарником и покрытые редким лесом, дают возможность скрытно передвигаться по складкам местности пехоте с ручным пулеметом».

Всего же первая экспедиция Арсеньева продолжалась с 20 мая по 17 ноября 1906 года. В ней участвовал 21 человек. За 190 дней путешественник обследовал практически весь Зауссурийский край от водо-

Мы спросили, кто он. И он с оттенком гордости ответил, что он не китаец, а гольд. Он, пробыв с нами весь вечер, рассказывал много интересного из своей скитальческой охотничьей и бродяжной жизни. Ночь он провел с нами.

Мы предложили ему поступить к нам на службу за жалованье, одежду и стол. Гольд подумал и решил дать ответ утром. Имя его Дерсу, а фамилия Узала. На мой вопрос, как перевести на русский язык его фамилию и имя или что это значит на языке гольдов, на это он ответил, что это ничего не значит, а просто имя и фамилия.

раздела рек, впадающих в Уссури и Иман, и до побережья Японского моря. При этом он девять раз пересек хребет Сихотэ-Алинь. За беспримерный героизм власть его потом наградила орденом святого Станислава 2-й степени.

Важная подробность: в то первое путешествие судьба впервые свела Арсеньева с гольдом Дерсу Узала. Они встретились 3 августа 1906 года. «Вечером, когда мы сидели у костра, — писал Арсеньев в своем дневнике, — пришли мои два охотника и доложили, что из-за перевала с Лифудзина пришел охотник-гольд, который был там, где наши два охотника, и сообщил, что там все благополучно. Этот гольд обещал прийти на наш бивак. Уже поздно вечером, когда было уже часов около 9 вечера, пришел этот гольд. “Здравствуйте”, — сказал кто-то сзади. Я обернулся. У нашего пня стоял пожилой человек небольшого роста, приземистый, с выпуклой грудью, несколько кривоногий. Лицо его, плоское, было покрыто загаром, а складки у глаз, на лбу и щеках красноречиво говорили, что ему лет около 50. Небольшие наштанового цвета редкие усы, редкая в несколько волосков борода, выдающиеся скулы у глаз изобличали в нем гольда. Он опустил ружье прикладом на землю и начал закуривать. Одет он был в наную-то жесткую брезентовую куртку, манзовские штаны и улы. В руках у него были сошки — непременная принадлежность охотника-инородца. Глаза его, маленькие, с поволокой у крайних углов, казались зоркими и дышали умом, сметливостью и гордостью. Мы спросили, кто он. И он с оттенком гордости ответил, что он не китаец, а гольд. Он, пробыв с нами весь вечер, рассказывал много интересного из своей скиталь-

ческой охотничьей и бродяжной жизни. Ночь он провел с нами. Мы предложили ему поступить к нам на службу за жалованье, одежду и стол. Гольд подумал и решил дать ответ утром. Имя его Дерсу, а фамилия Узала. На мой вопрос, как перевести на русский язык его фамилию и имя или что это значит на языке гольдов, на это он ответил, что это ничего не значит, а просто имя и фамилия.

4 августа. Утром гольд Дерсу Узала на вторично заданный вопрос, согласен ли он поступить проводником, изъявил свое согласие. С этого момента он стал членом экспедиции».

Впоследствии гольдский охотник Дерсу Узала не раз, рискуя собственной жизнью, выручал путешественника из самых сложнейших ситуаций (увы, в марте 1908 года Дерсу был убит).

Потом была экспедиция 1907 года. Но, наверное, самым сложным оказалось путешествие, предпринятое в 1908–1910 годах в северную часть Уссурийского края. Пересекая Сихотэ-Алинь, исследователи потерпели крушение: их лодка разбилась о камни. Горная река унесла все запасы продуктов и оружие. Будучи без пищи, Арсеньев отдал приказ убить его любимую собаку. Спас путешественников отряд стрелков, которым командовал Т.А. Николаев. Позже в отчете Приамурского отдела Русского географического общества было подробно рассказано, какую картину застали спасатели: «На людей было страшно смотреть. Это были настоящие скелеты, только обтянутые кожей. Некоторые были еще в силах подняться, остальные же лежали на земле без движения. Когда стали подходить лодки, силы оставили и Арсеньева. В эту минуту он почувствовал, что не может стоять на ногах, и лег на землю. Опоздай Николаев еще суток на двое-трое, и, вероятно, у Арсеньева трех четвертей людей недосчитались бы живыми».

Вернувшись после всех странствий домой, Арсеньев решил подвести итоги трем экспедициям. 20 июля 1910 года он сообщал А.М. Иванову: «Первое мое путешествие длилось 180 дней, второе — 210 суток и последнее, третье, — 19 месяцев. По моим расчетам, во время последней экспедиции на дневки ушло 4 месяца и 6 дней, а на чистые маршруты — 14 месяцев и 24 дня. 4 раза я погибал с голода. Один раз съели ножу, другой раз набивали желудок морской капустой, ели ранушки. Последняя голодовка была самой ужасной. Она длилась 21 день. Вы помните мою любимую собаку Альму — я ее съел в припадке голода, и этим мы спаслись от смерти. Три раза я тонул, дважды подвергался нападению диких зверей (тигр и медведь)».

Про все эти приключения Арсеньев позже написал не одну увлекательную повесть. Но в них русский офицер ни слова не упомянул о главных задачах своих экспедиций, связанных с разведкой. В какой-то мере основные цели своих ранних путешествий Арсеньев обозначил лишь в сугубо научной книге «Нратний военно-географический и военно-статистический очерк Уссурийского края», изданной в 1912 году, и еще кое-какие намеки можно обнаружить в монографии ученого «Нитайцы в Уссурийском крае» (1914).

Естественно, уже в первых экспедициях по Дальнему Востоку Арсеньев не раз сталкивался с представителями малочисленных народов. Он собрал уникальные материалы об удэгейцах и орочах, которые вызвали широкий резонанс в 1910–1911 годах в Петербурге на Общероссийской этнографической выставке. К его этнографическим наблюдениям проявили интерес С.Ф. Ольденбург, Д.Н. Зеленин, Д.А. Клеменц, В.В. Радлов и другие ученые. Но, наверное, самое большое влияние

на формирование научных взглядов Арсеньева оказали его знакомство и длительная переписка с бывшим народовольцем Л. Я. Штернбергом — автором классических трудов по этнографии нивхов (хотя позже пути ученых резко разошлись).

Здесь надо заметить, что Арсеньев еще до поездки на Общероссийскую этнографическую выставку в силу разногласий с военным начальством пытался поставить на своей военной карьере крест и выбрать поприще ученого-этнографа. В 1910 году он даже возглавил в Хабаровске краеведческий музей, при котором через три года организовал кружок любителей этнографии, связанных с разведкой. Но новый приамурский генерал-губернатор Н. Л. Гондатти считал, что Арсеньев больше пользы принесет на других постах. Не случайно он одним из первых приказов назначил Арсеньева чиновником особых поручений при Переселенческом управлении для исполнения поручений по рабочему вопросу. Но знающие люди утверждали, что новая должность была всего лишь ширмой. В реальности генерал-губернатор перевел штабс-напитана в контрразведку. Арсеньеву была поручена борьба с хунхузами и очищение Уссурийского края от китайцев и корейцев, проникавших в Россию без оформления соответствующих документов и занимавшихся браконьерством. Как установила А. И. Тарасова, «по личному приказанию Гондатти Арсеньев написал два доклада (от 6 и 10 июня 1911 г.) (ЦГА РСФСР ДВ, ф. 702, оп. 1, № 716, л. 6, 151–153, 155–157), в которых изложил план конкретных мероприятий по борьбе с хунхузами и браконьерами на ближайшие три-четыре года. За время своих десятилетних исследований он хорошо изучил положение, занятия, быт и нравы различных категорий пришлого населения края. К докладам были приложены: 1) схематические карты Уссурийского края с показом стоянок китайцев и корейцев и 2) проекты смет расходов на эти мероприятия, в том числе на экспедицию в среднюю часть прибрежного района Уссурийского края, где, по наблюдениям Арсеньева, в последние годы особенно активно проявлялось браконьерство».

Изучив доклады подчиненного, Гондатти 17 июня подписал приказ об организации Амурской экспедиции Арсеньева. В открытой части этого приказа генерал-губернатор сообщал, что «старший производитель работ Переселенческого управления штабс-напитан Арсеньев в сопровождении студента Московского сельхозинститута Бутлерова» должен произвести обследование побережья Японского моря в районе рени Нахтону до залива Св. Ольги. В закрытой же части приказа список участников экспедиции дополнительно содержал тринадцать фамилий нижних полицейских чинов и лесной стражи. И самое главное — в закрытой части подробно говорилось об истинном назначении экспедиции. Гондатти приказывал Арсеньеву собрать сведения обо всех нелегалах, живших на прибрежной территории от мыса Золотого до бухты Терней. Штабс-напитан должен был выяснить численность и вооружение бандитов, места производства опиума, сжечь все притоны хунхузов и собрать массу других разведанных.

Позже в своих донесениях Арсеньев сообщил, что ситуация на побережье очень сложная. Только за период с 13 июля по 4 августа 1911 года его экспедиция задержала и этапировала двадцать пять китайцев и тринадцать корейцев и уничтожила три тысячи браконьерских снастей на соболя. Но, как считал путешественник, он бил лишь «по верхкам». «Норешки» сидели не в тайге, а во Владивостоке и Хабаровске. Но против них Арсеньев был бессилён.

Амурская экспедиция Арсеньева продолжалась почти два года. В ходе ее путешественник опирался как на силу русского оружия, так и на помощь местных кочевников. В донесении за 11 октября 1912 года он подчеркивал, что в разгроме хунхузов активное участие, помимо полицейских, приняло пять тазов. Впоследствии генерал-губернатор Гондатти двух из них — Милинко Иаоно и Норяно Тыналло — наградил серебряными медалями на Станиславской ленте «За усердие».

Но вообще-то Арсеньев от всей этой миссии, возложенной на него Гондатти, был далек не в восторге. Он хотел заниматься чисто исследовательской работой. А генерал-губернатор вменил ему в обязанность прежде всего полицейские анци. «Я мирюсь с новой работой, — сообщал Арсеньев спутнику Пржевальского — Петру Козлову, — только потому, что она позволяет параллельно с ней вести и научные исследования».

К сожалению, отношения между Гондатти и Арсеньевым стали резко обостряться. Они оба считали себя серьезными учеными (Гондатти в свое время отличился этнографическими работами о хантах и манси, а также работами по быту чукчей и эскимосов) и не хотели друг другу ни в чем уступать. «Я думаю, — писал Арсеньев 2 июня 1915 года А.А. Емельянову, — что Гондатти ревнует меня к краю. Он хочет, чтобы одно его имя только и было в истории исследований. Как это глупо?! Погоня за грошовой рекламой. Разве ученый и серьезный человек будет гнаться за этим? Меня лично интересует этот неизведанный край в этнографическом отношении, ибо я знаю, что найду там весьма много нового и интересного. Если бы я хотел карьеру делать, то я остался бы в Петрограде, где было мне предложено хорошее место. Я возвратился в край не ради карьеры, а ради того, что я люблю его, и уже твердо решил покончить здесь счеты с жизнью. Теперь я достал средства, есть силы, здоровье, кое-какие знания и уверенность в работе. От Гондатти требуется только капля чернил, — и он ломается! Поживем — увидим. Пока этот вопрос открытый».

За Арсеньева пробовал вступить директор Музея антропологии и этнографии академик Радлов. На словах Гондатти пообещал, что отпустит Арсеньева в полевой сезон сразу после того, как изыщет необходимые финансы. А в реальности он поспешил убрать ученого с глаз долой в Харбин. Попробовал потом вмешаться в эту историю другой антрополог — С. Широногоров. Но и у него ничего не вышло. «Вы советовали мне обратиться с просьбой к Гондатти, — писал летом 1916 года Арсеньев Широногорову. — Я этого не делал, потому что считаю ход этот бесполезным, потому что нынешний генерал-губернатор далеко стоит от науки, не интересуется ею и после своей Амурской экспедиции враждебно относится ко всякого рода исследованиям в Приамурском крае. Настоящим своим письмом я подтверждаю, что готов принять участие в работах Ваших с величайшим удовольствием. Имейте, пожалуйста, меня в виду. В новую этнографическую экспедицию я пойду только тогда, когда Гондатти уедет из края. Здесь, в Харбине, я томлюсь. От нечего делать я занялся изучением маньчжурского языка и буддизма. У консула Лаврова и у окружного врача Мозолевского есть хорошие коллекции из Тибета и Монголии. Эти три месяца харбинского сидения не пропали для меня даром».

Вскоре дороги двух больших ученых окончательно разошлись. «У меня произошел полный разрыв с Гондатти, — сообщал Арсеньев 28 января 1917 года Д.С. Анучину. — Темные силы, о которых говорили с кафедры в Государственной думе, окружают и нашего генерал-губернатора. У него своя мерка к людям, под которую я не подхожу. От науки Гондатти теперь

стоит далеко, об этнографии он никогда и не вспоминает, с ноября 1914 года он и не заглядывал в музей. После своей Амурской экспедиции он стал враждебно относиться ко всякого рода исследованиям в крае и ко всем тем, кто занимается изучением страны в каком бы то ни было отношении. Ну, Бог с ним!»

Ну а в марте 1917 года Арсеньева призвали на фронт. Правда, он успел доехать лишь до Ачинска.

Арсеньев очень неоднозначно воспринял февральские и октябрьские события 1917 года. Сначала он поверил в новую власть. Состоявшийся в апреле 1917 года в Хабаровске первый съезд депутатов городских и уездных Советов, признав положение малых народов Уссурийского края критическим, предложил ему занять должность комиссара по инородческим делам. Спустя два месяца Арсеньев представил свою программу, рассчитанную на два года. Но чиновники отнеслись к его идеям безразлично. Видя это, Арсеньев добровольно ушел в отставку. Он писал тогда: «Вертеть колесо, от которого нет привода, и быть равнодушным свидетелем безобразий и насилий, которые чинились над инородцами, — числиться их шефом — я не могу». Сторонясь политики, ученый предпринял в конце 1917 года экспедицию по рекам Урми и Олгон, а в 1918 году — путешествие на Намчатку.

Пока Арсеньев исследовал северо-восток Приамурского края и Намчатку, в Приморье над ним в очередной раз сгустились тучи. Его первая жена Анна Константиновна Арсеньева (Надашевич) (1879–1963) позже рассказывала Г. Пермякову: «В 1918 году мы жили на Норфоровской даче и зимой, укрываясь от белых... Муж в это время был в экспедиции. Сюда не раз приходили калмыковцы. Они знали Арсеньева и хотели забрать его в армию. По моему совету Воля (сын путешественника. — *В. О.*) собрал все золотые и серебряные медали Володи, его военные награды и ордена, все наши ценные вещи и несколько дневников Владимира Нладиевича и, сложив все это в цинковую банку, перевязал ее изоляционной лентой. Затем самодельный сундук с сокровищами был занесен около дачи. Когда же потом Володя стал копать в указанном месте, то ничего не нашел. Или кто-то выкопал банку, или, скорее всего, Воля забыл место. Так оноло нашей дачи и лежит до сих пор этот клад, в котором самое ценное — дневники Арсеньева. Мы так и прозвали его “норфовский клад Арсеньева”» (Г. Пермяков. Тропой женьшеня. Хабаровск, 1965).

Возвратившись с Намчатки, Арсеньев узнал о страшной трагедии, которая произошла с его родными на Украине. Грабители убили его родителей, брата Нладия с женой и двух сестер: Ольгу и Лидию.

В это время Арсеньева особенно поддержала семья председателя Общества изучения Амурского края Николая Соловьева. Здесь стоит заметить, что Арсеньев уже давно засматривался на старшую дочь Соловьева — Маргариту. В какой-то момент у них возник роман.

Позже первая супруга ученого вспоминала: «Разрыв наш с мужем начался в Хабаровске. Я заметила, что с середины 1918 года Володя частит во Владивосток. Потом переехал туда. “В чем дело?” — спросила я. “Служба. Там большой заработок”. И вот в апреле 1919 приезжает оттуда и как мечом по шее: “Я женюсь на Маргарите Николаевне Соловьевой”.

Даже время потом никак Анну Константиновну не примирило с новой избранницей Арсеньева. Когда она в 1958 году в беседе с дальневосточным краеведом Г. Пермяковым носнулась личности Соловьевой, то у нее не нашлось для этой женщины ни одного доброго слова. «Она

бесстыжа, — утверждала Анна Константиновна, — разбила семью». По ее разговорам, «лицо у Маргариты было длинным, нос орлиный, подбородок острый, почти синие глаза, как миндалины, египетской разрез, не мазились. Володя не любил “писанок”. Высокая, почти как Володя ростом. Гладкая грудь, у нее были слабые легкие, ее даже лечили. Ходила извиваясь, властный голос, точная речь. У нее была драма с Нарчевским, ее давним другом. Он не женился на ней, хотя был отцом ее ребенка. Она стрелялась из ружья Монтекристо, пуля отсочила от лба, остался шрам на виске. Его она закрывала лононом. И тут она поймала Володю, простака. У нее был выкидыш. Знал весь Владивосток, кроме Володи. Губы тонкие, волосы очень темные, красива. Хорошо и богато одевалась, со вкусом. Носу заплетала на затылке узлом» (цитирую по шестому выпуску альманаха «Рубеж», Владивосток, 2006).

В августе 1920 года новая жена подарила Арсеньеву дочь Наташу.

На что надеялся тогда Арсеньев, непонятно. Его жизнь в Гражданскую войну часто висела на волоске. Он вроде бы был нужен всем: белым, красным, американцам, японцам. Колчановцы даже доверили ему отдел морского зверя в «Дальрыбе». Американцы постоянно звали его на работу в свой экспедиционный корпус. А как уговаривали Арсеньева японцы, когда судьба забросила его в японский порт Ханодато! Чего они только ученому не сулили. Но при этом никто (подчеркиваю, никто!) Арсеньеву до конца не верил: ни большевики, ни белоэмигранты, ни чужаки.

В каких-то вещах Арсеньев был просто непредсказуем. То он хотел во что бы то ни стало эмигрировать. Но стоило ему получить заграничный паспорт, желание покинуть Россию у него тут же пропало. Потом ученый вроде бы присягнул на верность красным комиссарам. Но когда бывший белый офицер Арсений Несмелов поделился с ним мыслью о побеге в Китай, тут же подробно объяснил опальному поэту, как быстрее и безопаснее достичь цели. Несмелов позже вспоминал: «В канун явки в ГПУ я зашел во Владивостокский музей, чтобы проститься с В.Н. Арсеньевым и, кстати, порасспросить его о тех местах, по которым нам надлежало идти. Последнее мне было поручено моими друзьями. “Может быть, и карту у него достанешь, хоть какие-нибудь крохи”, — говорил Саша Степанов, тоже хорошо знавший Арсеньева. Ибо все-таки и Антину, как нашему будущему проводнику, мы относились не особенно доверчиво.

Владивостокский музей, полный чучел, карт, каких-то географических макетов и Бог знает чего еще. Я нахожу Владимира Нладиевича у огромного чучела великолепного уссурийского тигра и с места в карьер приступаю к изложению своего дела.

— Я и несколько моих друзей, Владимир Нладиевич, — говорю я, — решили бежать из Владивостока. Вы меня простите, что я вас посвящаю в это не совсем безопасное дело, но мы выбрали необычный путь — через Амурский залив на “юли-юли”, а далее, до границы, на своих на двоих.

— И по китайской стороне до Санчагоу?

— Да.

— А почему не до Никольска сначала, а потом на Полтавну?

— Мы все на учете ГПУ, и дальше Угольной нам нет ходу. Если же поймут за Угольной, задержат, скажем, в вагоне, то все равно будут судить, как за побег.

— Да! — Владимир Нладиевич берет меня за руку и подводит к большой висящей на стене карте Приморья. Масштаб карты велик, и вот передо мной — весь тот район, по которому нам предстоит следовать. Все

дороги и даже тропы, и всего только две деревни на нашем пути, легко обходимые стороною.

— Чудесная для следования местность! — тихо говорю я. — В комнате мы одни?

— Не совсем! — и Арсеньев указывает мне на горный хребет, являющийся водоразделом для группы речек: одни с него текут в Китай, другие к нам, в Россию. — Вот это горное плато, видите? Я бывал там. Оно или заболочено, или покрыто мелким кустарником, через который трудно продираться. Кроме того, там, по оврагам, в эту пору еще лежит снег. Трудное место!

— Ну, как-нибудь, Владимир Клавдиевич!

— Конечно! Что? Есть ли там тигры? Нет, в этих местах я их не встречал, вот разве пониже, вот тут, ближе к Занадворовне. Но барс, пятнистая пантера тут встретиться может. И знаете, — взгляд мне в глаза, — она чаще нападает на человека, чем тигр. Вас много ли идет?

— Пять человек.

— Ну, это лучше. Вы вот что... вы всмотритесь в эту карту, а я вам сейчас принесу соответствующий кусок двадцатипятиверстни. Видите перед Занадворовной этот вот ручей. Достигнув ручья, вы лучше всего следуйте по нему к его истокам — этот путь как раз подведет вас к перевалу через хребет. На обрывке карты, которую я вам дам, ручей обозначен. Если вы воспользуетесь моим советом, вы не собьетесь с дороги, что иначе очень легко. Компас-то у вас есть?

— А ведь верно, нет у нас компаса! — ахнул я.

— Ничего, и компас вам дам. Пользоваться им умеете?

— Идут с нами два морячка, Владимир Клавдиевич. Они, наверно, умеют им орудовать.

— Должны бы!

Через десять минут я покидал музей с компасом и драгоценным обрывком карты в кармане».

Возможно, все эти сомнения, порожденные Гражданской войной и развалом страны, и подтолкнули Арсеньева к литературе. В 1921 году он опубликовал книгу «По Уссурийскому краю», через два года издал ее продолжение — повесть «Дерсу Узала», а в 1926 году, объединив обе части, издал сборник «В дебрях Уссурийского края».

Одним из первых эти вещи отрецензировал Николай Леонов, занимавшийся в середине 20-х годов проблемами просвещения народов Севера. Он отметил: «С редким мастерством автор располагает свой материал. Каждая глава насыщена интересным содержанием. Неослабное внимание читателя сопутствует автору в его странствиях по таежным трущобам. Неуловимым каким-то приемом В.Н. Арсеньеву удается сочетать хронологическую и географическую последовательность с неослабевающей содержательностью спокойного рассказа. Только подлинное любовное отношение к природе края и к людям, его населяющим, может дать такую прекрасную книгу. Присущее автору чувство меры позволяет ему внести в свою книгу описание ряда мелких подробностей и деталей длительной бивуачной жизни. И эти мелкие подробности подчас делают книгу особенно занимательной и близкой. Благодаря этим деталям читатель сам становится как бы участником путешествия и сопереживает с автором его тревожения. От наличия этих бытовых подробностей понятнее становятся тайга и все те переживания, которые выпали на долю автора и его спутников. Оттого и описание троп, горных лесных трущоб, стремительных

речек, а также и описание того пернатого и животного мира, который окружает в тайге путешественника, читаются с особым интересом. У книги Арсеньева есть еще одна редкая и ценнейшая особенность. Все виденное им рассказывается читателю не только с точки зрения европейского путешественника, автора книги, но вы постоянно встречаетесь с размышлениями и высказываниями его друга-туземца, гольда Дерсу Узала. Вся книга в целом насыщена подлинным интересом к душевным переживаниям и мирозерцанию этого охотника-туземца» («Северная Азия», 1926, кн. 5–6).

Позже книгу «В дебрях Уссурийского края» высоко оценил Мансим Горький. «Книгу Вашу я читал с великим наслаждением, — отметил он 24 января 1928 года в письме Арсеньеву из Сорренто. — Не говоря о ее научной ценности, конечно, несомненной и крупной, я увлечен и очарован ее изобразительной силой. Вам удалось объединить в себе Брема и Фенимора Купера, — это, поверьте, неплохая похвала. Гольд описан Вами отлично, для меня он более живая фигура, чем “Следопыт”, более художественная».

За границей же первым талант Арсеньева успел оценить еще Фритьоф Хансен. Готовя в июне 1924 года краткое предисловие к немецкому изданию сочинений писателя, он писал: «Уже прошло много времени с тех пор, как я встретил на Дальнем Востоке в Хабаровске на Амуре выдающегося исследователя Восточной Сибири профессора В.Н. Арсеньева. Это случилось 5 октября 1913 года. Он рассказал мне тогда о своих чрезвычайно интересных путешествиях через девственную тайгу Уссурийского края, о ее малоизвестном туземном населении, а также о животном и растительном мире этой страны. Получилось много в высшей степени интересных сообщений о неосвоенных еще местностях, и мне казалось очень прискорбным, что описания его путешествий и наблюдений не были опубликованы ни на одном из западноевропейских языков. Но теперь передо мною лежит книга В.Н. Арсеньева о его путешествиях, изданная на немецком языке. Автор просил меня написать к ней краткое предисловие, что я исполняю с особой радостью. Его описания открывают мир, о котором мы до сих пор имели очень мало сведений. Образно написанные заметки профессора В.Н. Арсеньева дают возможность ознакомиться как с природными условиями, так и с жизнью обитателей этого отдаленного лесного края. Достоин удивления, что мы, жители Старого Света, обычно больше знаем о жизни туземцев Северной Америки, чем о туземцах Сибири, и особенно Восточной Сибири, хотя последние на самом деле имеют для нас гораздо больший интерес. Я надеюсь, что интересный и ценный труд В.Н. Арсеньева найдет многих читателей».

После этого книги Арсеньева обошли практически весь мир. Только повесть «Дерсу Узала» выдержала с 1934 по 1984 год семьдесят переизданий, в том числе двадцать семь на русском языке, пять — на немецком, четыре — на венгерском и по три переиздания на украинском, чешском, английском, польском и словацком языках.

Однако новые власти Дальнего Востока продолжали Арсеньеву не доверять. Как бывший офицер русской армии он вплоть до марта 1924 года вынужден был ежемесячно ходить и отмечаться в ГПУ. Но и потом чекисты не оставили его без своего контроля.

Чувствуя недоброжелательность, ученый пытался искать поддержки в Москве и Петербурге. Он писал письма многим известным академикам, просил, чтобы они поддержали в периодике его работы. Ему обещали

место в Музее антропологии и этнографии. Но после смерти в 1925 году Л. Я. Штернберга с мечтой о переезде в Ленинград Арсеньеву пришлось расстаться. Хорошо хоть, что его снова взяли директором в Хабаровский музей. Однако в Хабаровске у него резко обострились отношения с влиятельным в политических кругах ученым А. Н. Липским.

Арсеньев считал Липского ченистом, для которого занятия этнографией — всего лишь ширма, прикрытие других интересов. Он полагал, что истинные цели Липского сводились к тому, чтобы скомпрометировать его и изобличить как врага советской власти. Липский в свою очередь под конец жизни всех убеждал, мол, Арсеньев — плохой этнограф, но хороший писатель. Уже в 1965 году он в одном из писем дальневосточному краеведу Г. Пермякову писал: «В ноябре 1917 года, когда мы шли по Урми, меня поражала та нетерпимость и озлобленность, с которой рассуждал Арсеньев о “большевистской опасности”... Я тогда объяснял эту нетерпимость и озлобленность Арсеньева его недавним офицерским прошлым... Я присутствовал при разговоре Арсеньева со сторожем музея Урываевым. Арсеньев “отчитывал” Урываева за то, что его старший сын ушел “за Амур” и сражавшимся с белогвардейщиной. Твердил, что большевики ведут Россию к гибели... Урываев четко произнес: “Ваше благородие, погон у вас с лапоть (Арсеньев был в это время при полковничьих погонах), а дальше носа вы ничего не видите!” Привлекала ли Арсеньева белогвардейщина в армию в период Гражданской войны, я не знаю, хотя, занимаясь когда-то этой фигурой специально, должен был бы знать. Но вот что Арсеньев был близок к работникам НРО Приамурского военного округа и, в частности, поддерживал тесные отношения с полковником Цепушеловым — это я знал хорошо. А функции НРО в те времена были направлены далеко и не только на борьбу с разведкой извне.

Осенью 1927 года мы выезжали из Хабаровска во Владивосток на операцию по ликвидации третьего бело-японского восстания. На вокзале при посадке в поезд Арсеньев увидел меня в группе офицеров ОГПУ и в форме с тремя “шпалами” в петлице. Он сказал своему собеседнику: “Вот подлинное лицо этнографа Липского. На этом поприще он скоро будет носить ромбы. Лучшего применения этнографии он не нашел”... Арсеньев не оказался в рядах открытых врагов, но мы им, по существу, и не занимались, хотя показания проф. Огородникова требовали проверки... Я имею в виду присвоение Арсеньеву американцами пожизненного почетного звания. Это что же, за те, в общем-то, немногие коллени, что он отправил через американского консула во Владивостоке г-на Роджерса, или за те полторы тысячи страниц его печатной продукции? И вы можете поверить тому, что американские ученые учреждения так дешево раскидываются своими почетными званиями? <...> Беда в том, что с этой стороны Арсеньевым не занимались, все было в плену его личности и его дерзости. Что же касается области этнографической, а в ней Арсеньев считал себя специалистом, то здесь у него такое множество чуши, что трудно и перечислить... Для меня Арсеньев, в лучшем случае, плохой дилетант в науке, расист в оценке расовых “качеств” народностей Дальнего Востока».

Во многом из-за Липского, осуществлявшего ченистский надзор за ученым, Арсеньев в 1927 году вернулся во Владивосток, где, против его ожидания, травля лишь усилилась. И. Шабанов, А. Зонин, Г. Ефимов, С. Глаголь и другие критики обвинили ученого в «реакционном мировоззрении и великодержавном шовинизме».

В это время Арсеньев решил сосредоточиться главным образом на обработке своих экспедиционных материалов об удэгейцах. Нам позднее вспоминал первый начальник «Дальрыбы» и писатель Трофим Борисов, Арсеньев взялся за составление удэгейского словаря. «Этот словарь, — писал Борисов, — состоит из четырех отделов: 1) обыкновенный разговорный, составленный по алфавиту; 2) комплексный, в который входят все детали, относящиеся к тому или иному основному вопросу, например, все, что касается берега моря, леса, реки, неба; 3) технической части — лодок, инструментов; 4) шаманский — язык поэзии и сказок».

Но самым главным делом Арсеньев считал издание монографии «Страна Удэхе». Еще в 1926 году он выпустил во Владивостоке брошюру «Лесные люди — удэгейцы». В предисловии к ней ученый писал: «Настоящая брошюра есть краткое и популярное изложение большого труда “Страна Удэхе”, над которым автор работает более 25 лет и к изданию которого он намерен приступить в ближайшем будущем». В предисловии также оговаривалось, что монография планируется в двух томах, причем во втором томе будут даны фольклор, грамматика и словарь. Спустя два года Арсеньев в письме к профессору Н.В. Юнеру подчеркнул, что монография «Страна Удэхе» — это цель его жизни. «Все мои предшествовавшие работы и статьи, — писал ученый, — являются не более как подготовительными материалами для основной моей работы “Страна Удэхе”. Если бы мне не удалось ее издать, я считал бы это большой личной катастрофой».

К сожалению, рукопись монографии в 1930-е годы пропала. Но некоторые специалисты считают, что она все-таки сохранилась и якобы на ее основе на Западе в 1956 году была издана книга «Лесные люди удэхе» некоего Фридриха Альберта. Позже выяснилось, что за подписью Альберта скрывался немецкий этнограф Федор Альбертович Дербен. Когда-то этот Дербен жил в России, окончил физмат Санкт-Петербургского университета и Императорскую военно-медицинскую академию и потом служил морским врачом на Дальнем Востоке. Во Владивостоке он одно время руководил музеем Общества изучения Амурского края и собирал материалы о быте народов Приамурья. Не исключено, что Арсеньев успел познакомить морского врача с рукописью главной своей книги. Впоследствии Дербен выехал в Германию.

Впрочем, кое-что из арсеньевских материалов по удэгейцам можно восстановить сейчас не только по книге Фридриха Альберта (или Федора Дербена). Ведь много чего сохранилось в архиве Общества изучения Амурского края. Я имею в виду прежде всего дневники и переписку Арсеньева. И здесь стоит отметить работу Н.А. Соболевской, которая в 1990-е годы выписала из дневников ученого все тексты, касающиеся удэгейского фольклора.

Из этих материалов Соболевская составила целую книгу «Мифы, легенды, предания и сказки народов Севера», которая под именем Арсеньева вышла в польском городе Стеншеве в 1995 году. У нас в стране эти тексты впервые были тогда же напечатаны в «Краеведческом бюллетене» (его издает Сахалинский краеведческий музей).

В 1998 году пятьдесят текстов в записях Арсеньева вошли в академический том «Фольклор удэгейцев». М. Хасанова в комментарии отметила: «Первые фольклорные сюжеты появляются в дневниках Арсеньева в 1907 г. и относятся к его экспедиции по восточным склонам Сихотэ-Алиня и р. Бикин. В этот период записано несколько сказок орочей (точнее,

удэгейцев, но исследователь по тогдашней традиции именовал их орочами) и китайская легенда о Нуань-Юне, услышанная им от маньчжура. В последующие годы его фольклорный фонд постоянно пополнялся. Судя по рабочим тетрадям, значительная часть текстов была собрана после 1914 г. Дату записи и имя информанта установить почти невозможно, поскольку тетради, как уже говорилось выше, представляют собой тематические шивки дневников разных лет — результат подготовки книги «Страна Удэхе». Все фольклорные материалы Арсеньева записаны на русском языке. Трудно сказать, как он фиксировал сюжеты. Похоже, что иногда он излагал их по памяти; чаще, видимо, работал с переводчиком; нередко, возможно, сказитель сам пытался передать произведение по-русски. А. И. Тарасова пишет, что имеются сведения об использовании Арсеньевым фонографа при записи сказки от Дерсу Узала. Это вполне вероятно, но расшифровка с валика фонографа, скорее всего, сделана не была. Фольклорные произведения, извлеченные из путевых тетрадей Владимира Клавдиевича, подчас носят следы поспешности, шероховатости, нередко встречаются удэгейские слова и словосочетания. И это понятно: ведь мы имеем дело с рабочим материалом, который собиратель явно не стремился использовать в необработанном виде».

До сих пор я много говорил о трудах Арсеньева. Но еще ни разу не сказал о том, каким он был в жизни. Сохранилось много описаний путешественника. Но я ограничусь лишь свидетельством Николая Набанова, который в 1927 году сопровождал Арсеньева в экспедиции по маршруту Советская Гавань — Хабаровск, а потом стал крупным лесоведом. В 1972 году Набанов вспоминал: «В. Н. Арсеньев был среднего роста, худощавый, но крепкого телосложения. Лицо продолговатое, с резко очерченными чертами, заостренным носом, слегка выдающимся подбородком и с глубоко сидящими голубыми глазами, над которыми возвышался ровный лоб. Светлые волосы были всегда зачесаны вверх, на висках и затылке они чуть поседел. У него была быстрая и легкая походка, резкие движения рук. Носил он всегда шляпу — серую или темно-серую со слегка поднятыми краями. Ностюм предпочитал синего цвета. В экспедиционных условиях он любил надевать плотную шляпу с широкими полями, куртку, а вместо сапог — ороцские улы (унты) в сочетании с обыкновенными обмотками.

В. Н. Арсеньев был человеком предельно собранным, строго дисциплинированным. Решительно не терпел неуважительных опозданий, неоправданных задержек. В то же время в походах был нетороплив, крайне осмотрителен. В тайге, пробираясь через бурелом или заросли, никогда не спешил, с особой осторожностью переходил через горные порожистые речки.

Часа за полтора-два до наступления сумерек В. Н. Арсеньев подавал сигнал об остановке, сам участвовал в выборе места для бивана, разбивке палаток, в устройстве шалашей, в заготовке сухих дров. А после ужина, когда все его спутники отдыхали или чинили себе обувь, одежду и отправлялись спать, он усаживался у костра, вытаскивал из полевой сумки дневник и остро зачиленным карандашом записывал все увиденное, услышанное и поправлял на планшетке крохи снятого им за день маршрута».

В последний год жизни Арсеньев получил предложение заняться работами по изысканию трассы новой уссурийской железной дороги. Ученый успел организовать сразу четыре таежные экспедиции... 19 мая

1930 года он выехал на Нижний Амур, не зная, что уже давно находится у спецслужб под подозрением. Агенты НКВД сообщали тогда своему начальству, будто Арсеньев «поехал формировать агентурную сеть».

Путешествие на Нижний Амур оказалось для ученого последним. В экспедиции он, видимо, подхватил крупозное воспаление легких.

Позже вдова Арсеньева, Маргарита Николаевна, в письме к сестре мужа, Вере Богдановой, подробно рассказала о последних месяцах жизни ученого. «19 июля он уехал в командировку в низовья Амура и там, видимо, простудился, вернее, заразился крупозным воспалением легких. 26 августа он вернулся домой в очень хорошем настроении, веселый, ласковый, как всегда после экспедиции. Выглядел он неважно, но на все мои вопросы о самочувствии отвечал, что прекрасно чувствует себя. Только два раза его лихорадило по ночам: раз в пути на пароходе и раз дома с 28 на 29 августа. Утром температура была нормальная.

С 26 по 31 июля (вероятно, Арсеньева допустила опisku, перепутав июль с августом. — *В. О.*) Володя побывал во всем городе, во всех учреждениях и организациях, где работал, всюду читал доклады, заседал, и никому в голову не приходило, что он болен. Сам он тоже того не подозревал.

В ночь на 31-е у него сделался сильнейший озноб. Позванный утром врач определил крупозное воспаление левого легкого в нижней зоне. С 1 на 2 сентября наступил неожиданно для всех кризис, после которого температура все время была нормальная, голова совершенно ясная (он все время принимал по делу своих сотрудников). Доктора считали, что дело идет на поправку.

Ночь с 3 на 4 сентября была прямо кошмарной. Он не уснул и все метался, просил поднять его, посадить в кресло. За два часа до смерти был врач, нашел, что все в порядке.

Около трех часов дня начался сердечный припадок, который длился 30–35 минут. Я не успела вызвать ни одного врача. Голова работала у Володи все время ясно, он сам говорил мне, что делать ему — положить горчичный компресс на сердце. Хотел написать завещание, но не успел. Сперва я не давала ему писать, а в последнюю минуту, когда я дала ему карандаш, — было поздно, — карандаш выпал у него из рук, — он не дописал даже первого слова.

Я до последней минуты не сознавала, что он умирает, эта необычайная ясность мысли сбивала с толку. Умер он от паралича сердца...»

Впрочем, во Владивостоке в этот диагноз поверили далеко не все. Как потом рассказывала первая жена ученого, «весь Владивосток считал, что закаленный в походах Арсеньев не мог умереть от простуды... Было три версии его смерти: 1. Японцы хотели сделать Арсеньева своим шпионом, но он отказался, вот его и отравили; 2. Немцы хотели сделать его своим разведчиком, но он отказался и погиб; 3. Его отравили ченисты, так как он был белый полковник» («Рубеж», Владивосток, 2006, №6). Но и Анна Константиновна подтвердила, что в действительности у Арсеньева «был самый настоящий крупоз».

Итак, Арсеньева не стало в 15 часов 15 минут 4 сентября 1930 года. Похоронили писателя во Владивостоке на крепостном военном кладбище, которое было расположено на пустынном тогда полуострове Эгершельд. Но в 1935 году власти то кладбище закрыли. А в 1954 году они решили прах Арсеньева перезахоронить. Новым местом упокоения останков писателя стала мемориальная часть Морского кладбища. По словам очевидцев,

во время перезахоронения из гроба Арсеньева вылетела белоснежная бабочка, которая сразу устремилась в поднебесье. Верующие увидели в этом знак: наконец-то душа путешественника обрела покой.

После смерти ученого его дело продолжила вторая жена — Маргарита Николаевна Арсеньева (Соловьева). Разобрав черновики мужа, она выпустила в 1931 году книгу Арсеньева «В горах Сихотэ-Алиня». На очереди была обработка дневников. Но в это время на Дальнем Востоке как по команде началась кампания по пересмотру отношения к арсеньевскому наследию. Застрельщиком этой позорной акции стал некий Г. Ефимов, который 16 июля 1931 года опубликовал во владивостокской газете «Красное знамя» погромную статью «Арсеньев как выразитель идеи великодержавного шовинизма».

Потом от Арсеньева, по сути, открестился один из его бывших сподвижников и соавторов Е. Титов (в 1928 году за их подписями вышла любопытная брошюра «Быт и характер народностей Дальневосточного края»). В 1933 году он в первом номере только что созданного журнала «На рубеже» заявил: «Дело в том, что как ученый Арсеньев был своеобразным продуктом буржуазной колонизаторской среды. Он выступал в качестве идеолога захватнических стремлений русского империализма на Дальнем Востоке, мечтал о могущественном русском территориальном владении “от моря до моря”, боролся с “желтой опасностью”. В своих этнографических работах Арсеньев оставался типичным буржуазным исследователем-идеалистом (идеализм, как известно, прекрасно уживается с самым грубым материализмом), сторонником застывших форм общественного уклада, причем, под этой защитой незыблемости примитивизма скрывалось плохо замаскированное убеждение в превосходстве белого человека над милыми, но обреченными на вымирание или на ассимиляцию “детьми природы”. Отсюда и нежелание и неспособность вскрыть в общественных отношениях туземцев Дальневосточного края те разлагающие начала, которые внесены в общественный и хозяйственный быт туземцев “белым человеком” — колонизатором, эксплуататором, ростовщиком, сифилитиком или просто убийцей. Вскрывать до конца влияние на туземцев Дальневосточного края русской великодержавной “цивилизации” означало бы для Арсеньева необходимость войти в конфликт с охранителями этой цивилизации и особенно ее отрицательных хищнических сторон. Этого Арсеньев сделать не мог, так как сам находился в рядах охранителей русского капитализма Дальнем Востоке» («На рубеже», 1933, №1).

Затем 31 марта 1934 года арестовали и отправили в Хабаровск вдову писателя — М.Н. Арсеньеву. Ее обвинили в том, что она еще в 1923 году помогала мужу руководить контрреволюционной шпионской повстанческой вредительской организацией. Сидя в тюрьме, она на газетном клочке набросала для брата мужа, Анатолия Арсеньева, короткую записку. «Дорогой А.Н., — писала Маргарита Николаевна, — меня обвиняют в работе шпионской (в пользу Японии и Германии) контрреволюционной организации, которую возглавил Володя... Хотят, чтобы я признала вину за себя и за В. Им важно оклеветать Володю, будь он жив, я бы не сидела, т. н. В. мог бы сам “сознаться”... Спасите Наташу, спрячьте ее... ДВ ГПУ помешалось на шпионаже... Сохраните мое обручальное кольцо, берегите могилу Володи и его дневники». Правда, потом Военный трибунал это обвинение с Арсеньевой снял. Однако на свободе Арсеньева оставалась недолго. 2 июля 1937 года ее арестовали во второй раз и через год расстреляли.

Дочь Арсеньева, Наташа, после расстрела матери осталась во Владивостоке одна-одинешенька. Она не смогла выдержать всех свалившихся на нее испытаний. Уже в 1939 году ей дали первый срок: три года «за содержание притона в квартире». Но, правда, вскоре после суда Наталью все-таки отпустили. Однако бунвально через два года, в апреле 1941-го, последовал повторный арест. Теперь ее обвинили в антисоветчине и в распространении шовинистических анекдотов. Она получила десять лет исправительно-трудовых лагерей. Освободили ее лишь в 1951 году. Но потом вновь осудили, теперь уже по «бытовой» статье. Умерла она в 1970 году в Благовещенске.

Непросто сложилась судьба и первой семьи Арсеньева. Старший сын ученого, Владимир, в 1919 году по мобилизации попал в армию Колчана, но позже оказался в народно-революционной армии. Кроме того, он какое-то время пробыл в японском плену. Преследовать Арсеньева-младшего начали еще при жизни отца. Так, в 1923 году он был отчислен из политехнического института. Ему поставили в вину службу отца в царской армии. Но главные гонения были впереди: в 1939 году всю их семью, жившую тогда в Шкотово, приказали в десятидневный срок выселить за пределы Дальневосточного края. Арсеньевы вынуждены были перебраться сначала в Челябинскую область, а потом на Алтай. В Приморье они вернулись лишь в 1957 году. Анна Константиновна прожила потом еще шесть лет. А ее сын скончался в 1987 году.

Уже в 2007 году президент Дальневосточного технического университета Геннадий Турмов случайно обнаружил в одном из московских букинистических магазинов конверт с пожелтевшим листком бумаги, на котором оказался текст завещания Арсеньева. Великий путешественник чуть ли не умолял: «Убедительно и горячо прошу похоронить меня не на кладбище, в лесу и сделать следующую надмогильную надпись: “Я шел по стопам исследователей в Приамурском крае. Они ведь давно уже находятся по ту сторону смерти. Пришел и мой черед. Путник! Остановись, присядь здесь и отдохни. Не бойся меня. Я так же уставал, как и ты. Теперь для меня наступил вечный абсолютный покой”».

